**АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ**

**Андрей Платонов главы из книги**

**Опубликовано в журнале:**[**«Новый Мир» 2010, №7**](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/)

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

**КРАСНЫЙ ВЗРЫВ**

 Мои товарищи по работе называют меня то ослом, то хулиганом. Я им верю», — писал Андрей Платонов в 1920 году в статье, которая называлась «Ответ редакции „Трудовой армии” по поводу моего рассказа „Чульдик и Епишка”». И хотя в тех словах было много иронии и даже ёрничества, а Платонов, по воспоминаниям Августа Явича, бывал в молодости «язвителен, придирчив, особенно как выпьет», дело не только в особенностях его нрава. Дело в самом рассказе, из-за которого Платонов и написал свой резкий ответ.

Короткий, меньше двух страниц, редко становящийся объектом научных изысканий, «Чульдик и Епишка» не имеет ничего общего ни с ранней лирикой, ни с публицистикой Платонова. Трудно даже представить, чтобы человек, который в стихах собирался то целовать горящую от любви вселенную и призывал ее сорвать с себя все одежды и тогда мертвые восстанут во гробах, то намеревался убивать ее, невесту, душу голубую, машинами («для вселенной бьет последний час»), который строил планы, как потушить одно солнце и зажечь другое — железное, осушая до дна небесные тайны и давая людям железные души, — как этот сверхчеловек вдруг отвлекся от грандиозных апокалиптических заданий, спустился с небес на землю и сочинил текст такого примерно содержания.

На берегу Дона в жаркий полдень спит деревенский мужик Епишка и видит сон, «что наелся говядины и лежит с чужой бабой в соломе». На самом интересном месте его будит другой мужик по имени Чульдик и прогоняет с места. Почему прогоняет, почему Епишка его слушает — не совсем понятно, но Епишка вскакивает, в одежде переплывает через Дон и бежит в деревню, где в это время случился страшный пожар, а у Епишки осталась в хате дочка в люльке (жены у него, похоже, нет). Он добегает до деревни, когда она наполовину вместе с его домом сгорает, и ложится, «как белый камень с чужого неба», «мертвый и окаянный». А через три дня умирает.

Чульдик хоронит его вместе с дочкой на кладбище в том месте, где «гадили и курили ребята, когда шла обедня», пять дней спокойно ловит рыбу, а на шестой приходит к могиле и бормочет:

«— Кузьма, Кузя… Нешто можно так, идол ее рашшиби-то… Али я, али што…»

А заканчивается все озорной девичьей частушкой:

Я какая ни на есть —   
Ко мне, гадина, не лезь!  
Я сама себе головка,  
А мужик мне не обновка!

Все это было опубликовано 10 августа 1920 года в «Красной деревне», которая всего тремя неделями ранее напечатала возвышенный платоновский трактат «Душа мира», и в контексте его творчества может рассматриваться как важный литературный опыт и своего рода аккумулятор будущих мотивов: внезапная катастрофа, смерть ребенка, образ рыбака, переход через реку и приход героя на могилу. А кроме того, Епишка, уменьшительное от Елпидифора, ведет к «бесконечной повести» «Приключения Баклажанова», несколько проясняющей темные места и опущенные звенья в «Чульдике и Епишке», например ситуацию с пожаром: «А Епишка ждет не дождется, когда пустят домой: он горевал по маме и боялся, как бы без него не случился дома пожар — не выскочат: жара, ветер, сушь». Да и вообще образ Баклажанова, этого своеобразного авторского альтер эго, очень важен в ранней прозе, потому что здесь открыто сказалось то тревожное, катастрофическое видение мира, которое с детства было Платонову присуще. И если верно, что в жизни каждого писателя присутствует некий «спусковой механизм» и происходят те события и накапливаются те впечатления, которые включают определенный образ мышления и чувствования мира, то в жизни Платонова таковым стартером мог быть навязчивый детский страх пожара и ужас от того, что его родные, прежде всего мать, которую он безумно любил и был к ней привязан, не успеют выбежать из горящего дома. Можно с большой долей уверенности предположить, что именно из сидящего за партой школьника, мучительно переживающего ясную до мельчайших подробностей картину пожара, которая встает в его сознании, и вырос будущий автор «Епифанских шлюзов», «Котлована», «Счастливой Москвы» и прочих произведений, потрясших крещеный мир, а для начала этот мотив проявился, как в сухом семечке, в «Чульдике и Епишке». Только вот читательской аудитории в 1920 году до всех этих психологических тонкостей и перспектив своего земляка дела не было, и реакция определенной части воронежского читающего сообщества оказалась негодующей.

Публикация рассказа вызвала отклики возмущенных читателей, а также рецензию в оппозиционной газете «Трудовая армия». К сожалению, ни то ни другое не сохранилось, зато известен оскорбленный авторский ответ на критику: «Человека, который ошибается, надо учить, а не смеяться над ним и не ругать его. А то мне теперь от вашего целомудренного визга еще больше думается, что не вы, а я один прав», — написал Платонов в короткой реплике 19 августа, а три дня спустя развернул свою мысль, превратив ее в своеобразный манифест нового искусства, направленный против искусства старого, «чистого», фарисейского:

«Вы пишете о великой целомудренной красоте и ее чистых сынах, которые знают, видят и возносят ее.

Меня вы ставите в шайку ее хулителей и поносителей, людей не достойных Ее видеть и не могущих Ее видеть, а потому я должен отойти от дома красоты — искусства и не лапать Ее белые одежды. Не место мне, грязному, там.

Ладно. Я двадцать лет проходил по земле и нигде не встретил того, о чем вы говорите, — Красоты. <…>

Это оттого я не встретил и никогда не подумал о Красоте, что я к ней привык, как к матери, о которой я хорошо вспомню, когда она умрет, а сейчас я все забываю о ней, потому что стоит она всегда в душе моей.

Я живу, не думаю, а вы, рассуждая, не живете — и ничего не видите, даже красоту, которая неразлучна и верна человеку, как сестра, как невеста.

Вы мало любите и мало видите.

Я человек. Я родился на прекрасной живой земле. О чем вы меня спрашиваете? О какой красоте? О ней может спросить дохлый: для живого нет безобразия.

Я знаю, что я один из самых ничтожных. Это вы верно заметили. Но я знаю еще, чем ничтожней существо, тем оно больше радо жизни, потому что менее всего достойно ее. Самый маленький комарик — самая счастливая душа.

Чем ничтожней существо, тем прекраснее и больше душа его. Этого вы не могли подметить. Вы люди законные и достойные, я человеком только хочу быть. Для вас быть человеком привычка, для меня редкость и праздник.< …>

Я уверен, что приход пролетарского искусства будет безобразен. Мы растем из земли, из всех ее нечистот, и все, что есть на земле, есть и на нас.

Но не бойтесь, мы очистимся — мы ненавидим свое убожество, мы упорно идем из грязи. В этом наш смысл. Из нашего уродства вырастает душа мира.

Вы видите только наши заблуждения, а не можете понять, что не блуждаем мы, а ищем. <…>

Мы идем снизу, помогите нам, верхние, — в этом мой ответ».

Рассуждая умозрительно, в защите Платонова можно было бы заметить не только очевидную сильную уязвленность и самолюбие молодого автора, не только унижение паче гордости или, как говорил Пушкин об одном из своих благородных героев, «англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты» (и таким же нетерпением отличался журналист воронежский столетие спустя), — так вот в его «манифесте», в этой, по удачному выражению Льва Шубина, «декларации прав» молодого писателя можно увидеть определенную стратегию либо, по меньшей мере, продуманную линию поведения.

В самом деле, если не знать всего написанного автором «Ответа редакции „Трудовой армии”» к той поре, если отвлечься от его посвященных красоте Божьего мира стихов, публицистических размышлений о целомуд­рии и сознании, если не представлять его начитанности, внутренней сложности и богатства, если пройти мимо диалога с Федоровым, Достоевским, Ницше, Розановым, Шпенглером, Ключевским, Фрейдом, Вейнингером, то можно предположить, что платоновский отлуп хулителям из «Трудовой армии» писался от лица талантливого самоучки, непросвещенного, но жаждущего просветиться рабоче-крестьянского парня из числа тех, о ком упоминал Блок — «бьют себя кулаками по несчастной голове: мы глупые, мы понять не можем», — даром, что ли, Андрей Платонович и сам сообщал в ту пору в анкетах, что образование у него «нисшее».

Но поскольку очевидно, что автор «Чульдика и Епишки» превосходил своих зоилов не только по природному дарованию, но и по образованию и начитанности и никакие «верхние» помочь ему ни в чем не могли, то из платоновского «Ответа» следует, что за его как бы смирением, за свое­образным литературным юродством и самопровозглашенным убожеством скрывался сознательный полемический прием. Платонов словно предчувствовал, что его писательский удел — раздражать и навлекать на себя гнев, он учился держать удар и отвечать обидчикам. С рабочих позиций в рабочем государстве делать это было удобнее всего, и он свое законное место грамотно занял, благо ему прикидываться рабочим надобности не было.

Только как ни увлекательна версия о Платонове-стратилате, умело разыгрывающем пролетарскую карту, в своей основе она может быть верна лишь частично: человек этот действовал больше по наитию, чем по расчету. С житейскими расчетами у него, несмотря на техническое образование, вообще было неважно, свидетельство чему его достаточно наивная переписка с Госиздатом в 1921 — 1922 годах, да и вообще вся дальнейшая драматическая история взаимоотношений с официальной литературой и резких столкновений с советской критикой, во время которых он порою вел себя не совсем ловко. Вместе с тем совпадение самохарактеристик «я один из самых ничтожных» в этой статье и «я… ничтожен и пуст» в рассказе «Жажда нищего» показательно, как показательно и то, что «ничтожнейшим из существ» Платонов называл не кого-нибудь, а Федора Михайловича Достоевского. Так что компания у воронежского писателя подобралась что надо.

Реальная картина была разноречивей и пестрей. В литературное окружение Платонова в Воронеже — а это был город с невероятно насыщенной культурной, литературной жизнью, недаром позднее его уроженец так заскучал в Тамбове — входили самые разные писателя, поэты, журналисты, критики. Платонова они неплохо знали, проводили с ним много времени, о нем писали, с ним спорили, выпивали, но вряд ли даже приблизительно представляли масштаб его дарования. Георгий Малюченко, Владимир Келлер, Михаил Бахметьев (в соавторстве с ним Платонов опубликовал «Рассказ о многих интересных вещах»), Андрей Божко-Божинский, Андрей Новиков, Николай Жайворонков (Стальский), поэт-имажинист Борис Хижинский (Дерптский), а также Георгий Плетнев, Август Явич (Семен Пеший), Борис Бобылев, Федор Михайлов, Николай Задонский, Владимир Кораблинов... С иными из них Платонов был знаком только по Воронежу, с другими дружба продолжалась всю жизнь, одни умерли рано, кто естественной смертью, кто наложив на себя руки, а кто замученный в ГУЛАГе. Другие дожили до того времени, когда Платоновым стали всерьез интересоваться и возникла дружина платоноведов, людей, по выражению современного писателя Олега Павлова, «одержимых», «знающих куда больше о Платонове, чем он сам знал о себе», которые стали по крохам, как драгоценнейшее вещество жизни, собирать все, связанное с Андреем Платоновым. Но, несмотря на все усилия, платоновская мемуаристика уступает даже довольно скудной булгаковской, не говоря уже о богатейших воспоминаниях об Ахматовой, Пастернаке, Мандельштаме, Цветаевой, Волошине, Горьком, Бунине… И понятно почему: Платонов был не только очень сложен и закрыт от окружающих как личность, но он был меньше всего озабочен своим посмертным портретом и инстинктивно стремился уйти от литературной среды, не желая отражаться в ее прямых и кривых зеркалах, а тем более эти отражения ловить и множить, как это было свойственно иным из его современников и современниц.

Более того, про писателя Андрея Платонова можно с некоторыми оговорками сказать, что он умел писать так же, как не умел жить, и как раз в сознательной тактической негибкости жизненного поведения проявился его сознательный стратегический выбор — выбор тех условий, которые были востребованы его писательским даром. Однако сколь бы горько ни складывалась по этим или иным причинам его судьба, она могла бы оказаться еще горше, не случись в его окружении человека, ставшего его первым редактором, издателем, проводником, заступником, покровителем, литературным опекуном, — человека, без которого Платонову не удалось бы добиться и тех крох прижизненного успеха, что выпали на его долю сначала в Воронеже, а потом в Москве. Среди тех, кто разглядел его талант, кого платоновская резкость и неуклюжесть не отвратила, а, напротив, привлекла и кто с удовольствием печатал все, выходившее из-под пера молодого автора, и в том числе его непричесанные ответы критикам, кто с ним иногда спорил и не соглашался, но всегда давал ему слово, был довольно крупный по воронежским меркам партийный деятель Георгий Захарович Литвин-Молотов.

В отношениях между ним и Андреем Платоновым, отношениях между партией и литературой, ставших в этом конкретном, едва ли не уникальном случае моделью, идеалом, осуществившейся утопией и примером того, какими бы эти отношения вообще могли быть, будь партия поумней и почеловечней, более всего поражает церемонность, полное отсутствие панибратства и удивительное уважение друг к другу. Если к этому прибавить, что Литвин-Молотов был старше Платонова на год, и в момент их знакомства одному был 21 год, а другому — 20, и при этом они с самого начала были и всю жизнь оставались на «вы», обращаясь друг к другу по имени-отчеству, что вовсе не явилось следствием утонченного воспитания (оба происходили из социальных низов), то в который раз восхитишься богатством человеческого материала на Руси, а также невольно задумаешься над неоднозначностью и не одной только окаянностью того переворота, что назвался Великим Октябрем, и усомнишься лишь в уничижительной характеристике людей, в нем участвовавших. Именно к числу этих неординарных, нашедших себя в революции, очень рано повзрослевших пассионариев и принадлежал Литвин-Молотов, который с точки зрения житейской карьеры к своим 20 годам успел добиться гораздо большего, чем его молодой друг.

Сын сапожника из уездного городка Воронежской губернии и донской казачки, Юрий Литвинов закончил высшее начальное училище, а затем поступил по конкурсу в частный учительский институт, был юношей музыкально одаренным и живо интересовавшимся философией, которая в семнадцатом году сделала его практикующим большевиком, отрезала от родовой фамилии суффикс «ов» и добавила «Молотов», а в девятнадцатом привела на должность редактора газеты «Воронежская беднота». Именно тогда произошло знакомство Литвина-Молотова с Платоновым («Андрей Платонов рассказывал мне, что много думал он об Иммануиле Канте, об его философских особенностях, вещах познанных и непознанных, не появляющихся наружу „вещах в себе”, закованных в глубинах своих — не открытых еще, не проявившихся в нашем сознании, а скрытых под спудом еще неясного видения», — вспоминал он позднее), но по-настоящему они стали вместе работать в 1920-м, когда Литвин-Молотов возглавил сначала газету «Красная деревня», а потом «Воронежскую коммуну» и пригласил Платонова в них сотрудничать.

«Это что же? Мне надо будет резать ножницами чужие мысли и слова, с мясом кромсать письма людей? Нет, я так не могу», — по преданию, воскликнул уже обжегшийся о рецензии на собственные стихи Платонов, но общий язык редактор и журналист нашли.

«Он всех нас, тогдашних безусых юнцов, начинающих литераторов, сотрудничавших в воронежских газетах, поражал прежде всего своей внешностью, — вспоминал Георгия Захаровича Николай Задонский. — Выше среднего роста, хорошо сложенный, с умными строгими глазами, всегда чисто выбритый, с небольшими, ровно подстриженными темными усиками, он неизменно являлся на службу в отглаженных мягких рубашках, в галстуке, с наброшенной на плечи кожаной курткой и во всем служил нам примером аккуратности, трудолюбия и добросовестности».

Сам Платонов, к слову сказать, и одевался и выглядел в те годы иначе. Летом, если верить мемуаристам, ходил «в серых полусуконных брюках навыпуск и такой же рубашке с поясом, а в жаркие дни — в рубашке холстинковой или ситцевой». Зимой — «в малахае и валенках». Писатель Владимир Кораблинов упоминает «сильно, до белизны потертую кожаную куртку», а Л. Шубин написал о том, что в рабочем-поэте Литвину-Молотову «запомнились и необычная внешность, чем-то напоминавшая облик молодого Достоевского, и какая-то странная черная хламида, очевидно старая железнодорожная шинель, и застенчивая немногословность поэта, и длинные узкие листочки, на которых четким красивым почерком были написаны стихи».

Главный редактор продвигал своего самого талантливого журналиста как мог. В конце апреля 1920 года Платонов (точнее, пока еще А. П. Климентов) был принят в Коммунистический союз журналистов (Комсожур); в июле благодаря Литвину-Молотову состоялось первое обсуждение творчества рабочего поэта, на котором Платонову наговорили больше лестных, чем нелестных слов («т. Платонов — редкий самородок, обещающий широко развернуться на поприще литературы и искусства»), а сам Литвин-Молотов своего подопечного и защищал, и по-своему направлял: «Пролетарский писатель или поэт <…> отражает в своих произведениях революционно-действенный уклад, уклад жизни рабочего класса, его труд, чувствования потому, что они — реальная правда, современность. Деревня же до сих пор косна, рутинна, не имеет в общественной жизни страны того значения, которое имеет город. Деревня не усвоила великого переворота. В силу этого и писать о ней пролетарскому поэту, в особенности же рабочему Платонову, нечего, да и не стоит. Если бы стоило, то из среды крестьянства вышли бы свои крестьянские поэты. Но их нет. Они не народились еще».

Тут дело даже не столько в том, прав или не прав Литвин-Молотов по существу, особенно в том, что касалось крестьянской поэзии, а в том, что эти суждения могли быть предметом разговоров, которые партия и литература в редакции «Воронежской коммуны» вели и каждая оставалась при своем, уважая иную точку зрения, вспомним платоновское: «Деревню же я до слез любил…»

В августе 1920-го — то есть как раз в ту пору, когда возмущенная общественность громила «Чульдика и Епишку», Андрей Платонов вместе с еще двумя воронежскими писателями, Бобылем и Бунтарем, вошел во временное правление вновь образованного Воронежского отделения Союза пролетарских писателей. В октябре вместе с Борисом Ирисовым он участвовал в работе Всероссийского съезда пролетарских писателей в качестве делегата с правом решающего голоса от Воронежа в Москве (это была его первая поездка в город, с которым в дальнейшем окажется связана его судьба), и на вопрос «каким литературным направлениям сочувствуете или принадлежите?» самоуверенно, но очень точно на всю жизнь вперед ответил: «Никаким, имею свое». Наконец, именно благодаря Литвину-Молотову в самом начале 1921 года была издана первая книга Андрея Платонова — тоненькая 16-страничная брошюра под названием «Электрификация», в основу которой лег платоновский доклад, сделанный в декабре 1920 года на губернском съезде работников печати.

Съезд проходил одновременно с Восьмым Всероссийским съездом Советов, на котором с докладом о плане ГОЭЛРО выступил Кржижановский (сцена, описанная в финале трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам»), и таким образом доклад Платонова оказался дорогой ложкой к обеду. «Не успел еще радиотелеграф полностью передать всего плана героя Всероссийского съезда Советов — инженера Кржижановского, а в нашем городе простой рабочий-журналист смело заявляет, что нужно поддержать предложения великого техника, что они вполне приемлемы и что в них наше спасение от голода, холода и нищеты», — написал в те дни в «Воронежской коммуне» журналист Борис Бобылев, однако когда «Электрификацию» впоследствии пытались переиздать в Москве, то она получила уничижительную оценку: «Брошюрка написана семинарским высокопарным кликушеским слогом. <…> написана безграмотно, часто в простом грамматическом смысле».

Тем не менее расхождений у молодого Платонова с генеральной ли­­нией партией в 1920-м еще не было, и в июле того года рабочий-журналист стал кандидатом в члены РКП(б), а рекомендацию в партию ему дал опять же Литвин-Молотов, чья характеристика отличалась замечательной точностью:

«Рекомендую т. Климентова. Лучшим обоснованием его мировоззрения служат все (*искренне* все) статьи и стихотворения, какие через меня, как редактора газеты, прошли. Платонов искренен в своих писаниях — искренен он и в данном случае, вступая в нашу партийную организацию, ибо он действительный пролетарий, рабочий, сознательно воспринимающий все явления. Далее, вступление его не только явилось результатом движения чувства, а также и прежде всего — критикой его действительности, тем, что неясное, туманное политико-экономическое мировоззрение его стало твердым, устойчивым, определенно осознанным.

Платонов — рабочий, молодой пролетарий, но он не только пролетарий по принадлежности к определенному классу — он пролетарий и по духу, интеллигентный пролетарий.

Платонов знает в основном Маркса, ибо читал его.

Член президиума Губкомпарта

20. VII. 1920 *Юр. Литвин (Молотов).*

P. S. Из всех рекомендаций, данных мной (в незначительном количестве) вновь вступающим, эта рекомендация наиболее удачная, и, рекомендуя, я беру на себя политическую ответственность за вступающего в РКП рабочего — поэта и философа Платонова.

20. VII. 1920 г. *Юр. Литвин (Молотов)».*

Последние слова в постскриптуме были, по всей вероятности, призваны еще больше усилить позиции читателя Маркса, а также мотивировать тот индивидуальный стиль, которым была написана его автобиография в связи с подачей заявления о вступлении в ряды партии:

«В коммунистическую партию меня ведет наш прямой естественный рабочий путь. Трудно сказать, почему я ранее не вступил в партию: были какие-то полудетские мечты, которые ели зря мою жизнь, мешали глазам видеть действительный человеческий мир, я жалею об этом. Но теперь я начинаю по-настоящему жить и наверстаю потерянное. <…>

Теперь я сознал себя нераздельным и единым со всем растущим из буржуазного хаоса молодым трудовым человечеством. И за всех — за жизнь человечества, за его срастание в одно существо, в одно дыхание я и хочу бороться и жить.

Я люблю партию — она прообраз будущего общества людей, их слитности, дисциплины, мощи и трудовой коллективной совести; она — организующее сердце воскресающего человечества.

*Андрей Климентов (Платонов)».*

Его приняли. Об этом факте известила своих читателей «Воронежская коммуна» 7 августа в рубрике «Партийная жизнь». Фамилия Климентов (Платонов) значилась первой в списке «для утверждения в кандидаты РКП(б)».

Был ли А. П. Климентов (Платонов) сразу же разочарован в партии или же несколько погодя и по какой причине это произошло, вопрос спорный (скорее все же не сразу, доказательством чему могут служить его статьи лета 1921 года), но факт тот, что долго среди коммунистов Платонов не задержался, и одной из составляющих его конфликта с партией можно считать перевод Литвина-Молотова из Воронежа в Краснодар, лишивший Платонова и дружеской поддержки, и покровительства, а также необходимости строжайше соблюдать партдисциплину, к которой никогда не лежала анархическая душа слобожанина. В этом смысле личностный фактор сыграл в истории кандидата Андрея Платонова роль исключительную. Он вступал в одну партию, а оказался в другой, и эта другая пришлась ему не по нраву. Но случился сей надрыв уже во второй половине 1921 года, отмеченного многими ключевыми событиями в жизни молодого писателя — неудачной попыткой издания своих книг в Москве, фактической женитьбой и выходом из рядов РКП(б).

Однако самым важным оказалось даже не это. Самым важным, лично катастрофичным для Платонова в тот год стал голод в Поволжье, который юный коммунист принял к сердцу так, как, наверное, никто во всей России, а уж среди писателей точно не принимал, и, более того, иные, правда, не в России, но в эмиграции записывали в дневнике: «В газетах все то же. „На помощь!” Призывы к миру „спасти миллионы наших братьев, гибнущих от голода русских крестьян!” А вот когда миллионами гибли в городах от того же голода не крестьяне, никто не орал. <…> И как надоела всему миру своими гнусностями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая сволочь Русь!» Факт, который упоминается здесь отнюдь не для дискредитации автора процитированной гневной сентенции Ивана Алексеевича Бунина, а для того, чтобы еще раз подчеркнуть, обозначить ту степень катастрофического раскола, который прошел через русский народ и русскую литературу в революцию и Гражданскую войну.

Но попытаемся восстановить хронологию этого очень важного, переломного в судьбе Андрея Платонова «annо domini» по порядку.

Итак, в январе 1921 года Платонов вступил в переписку с московским Государственным издательством с предложением издать книги своих произведений. Сохранилось десять его писем в Москву 1921 — 1922 годов, отразивших нарастающую степень разочарованности молодого искателя в нравах стольного града. Первое письмо было пробным и несмелым. Оно представляло собой запрос о возможности издания сборника стихов. Целью этого деликатного послания было получить благоприятный ответ и выслать подборку. Однако равнодушная Москва промолчала. Тогда месяц спустя, не дождавшись ответа, Платонов все же послал 68 стихотворений, которые «местное Воронежское Отделение Госиздата продержало целый год и не могло издать сборника этих стихов за неимением бумаги и технических средств».

В этом же письме содержалась уничижительная оценка деятельности воронежских товарищей — теперь, когда Литвина-Молотова среди них не было, автор давал себе право написать: «…тут громадная косность, лень, отсутствие всякой энергии и мещанская мелочность, так что я встретил только старую гадость и оскорбления сонных людей. <…> Тут нигде нет настоящих коммунистических людей, и я поэтому обращаюсь прямо к вам, в центр».

Кроме того, Платонов настаивал на том, чтобы его стихи были напечатаны в том порядке и в том виде, в каком они были предложены, то есть никакой цензуры и редактуры признавать не хотел: «Если будете печатать, то прямо сдавайте в набор как есть». И заканчивалось все краткими сведениями о себе: «По профессии я электромонтер и прошу извинить за письмо и за то, что обращаюсь к вам». Ненужная конфликтность налицо, а те немаловажные факты, которые могли бы продвинуть дело — членство в Воронежском Союзе пролетарских писателей и, более того, в его правлении, участие в работе московского съезда, наконец, принадлежность к РКП(б), — все это выносилось за скобки по причине личной нерасчетливости, скромности либо слишком великой степени идеализма и веры в Москву, которая и так должна все оценить.

Но косность, лень и мещанская мелочность процветали не только в губернском Воронеже. Столица повела себя по отношению к начинающему поэту ничуть не лучше, заставляя его вновь и вновь о себе напоминать: «Просил я у вас ответа, но вы молчите, и я еще раз прошу его. Я не знаю, что мне делать. Пишу я плохо, это знаю, потому что я электромонтер, а не писатель». С этой самохарактеристикой тем же письмом в Москву была отправлена рукопись рассказов.

Только в мае Платонов получил краткое извещение о том, что его работы посланы на отзыв, и, ободренный, направил в Москву третью рукопись — своих статей. Таким образом, если бы в Госиздате сидели тогда не бездушные бюрократы от литературы, а пламенные платонолюбы, мы получили бы шанс увидеть рождение Платонова в трех его ипостасях — поэта, прозаика и публициста — уже в 1921 году. Однако несчастная Москва все зарубила, хотя и не безоговорочно. Иные из платоновских статей и рассказов получили одобрение рецензентов: «У автора несомненное дарование. Оригинальное миросозерцание. Интересный подход к изображаемому. Безусловно хорош язык, техника; яркость образов. Всегда глубокое настроение. Утонченность психики. К недостаткам нужно отнести слишком большую болезненность, душевный надрыв, изредка грубость, недостаточную логическую ясность. Автор заслуживает большого внимания. Если рассказы непригодны для Аг.-проп. отдела как такового, их следует направить в Лито».

Однако не эти скромные и честные люди все решали. Прийти в Москву в 1921-м Платонову было не суждено, и его столичный книжный дебют был отложен на целых шесть лет, в течение которых траектория платоновского пути отклонилась далеко в сторону от торных литературных дорог. В высшем смысле эта отдаленность была для него спасительной, ибо подарила Платонову-писателю судьбу и обстоятельства жизни, каких не было ни у кого из даже самых одаренных и достойных его современников. Впрочем, если рассуждать умозрительно и придавать истории литературы сослагательное наклонение, то биография воронежского литератора могла бы сложиться иначе, будь он порасторопней, и эти гипотетические рас­суждения важны прежде всего потому, что показывают и доказывают особое положение Платонова в писательском сообществе Советской России.

В то время как воронежский рабочий-электрик боролся с местечковой косностью, многие молодые и не очень молодые люди, чувствовавшие призвание к литературе, уезжали в Москву, чтобы пробиваться на месте, а не ждать ответов из редакций. «Вы же на мои письма не отвечаете, а между тем мне говорили в Госиздате (и у вас, кажется, есть там объявление), что непринятые произведения возвращаются. Что же это такое, товарищи? Почему вы заховали где-то мои рассказы и не хотите их найти и возвратить? Ведь это очень нехорошо, тем более гос. учреждению, тем более по отношению ко мне, рабочему. <…> Я просто теряюсь и не знаю, как же вас еще просить и как мне преодолеть ваше молчание и равнодушие».

Люди, мыслившие более грамотно, люди, знающие и понимающие, что такое писательская стратегия, действовали совсем не так. Они тоже было посылали свои первые опусы в Москву, но, убедившись, что ответа нет и не будет, бросали Владикавказы и Одессы, приезжали в столицу и устраивались в газеты, например в «Гудок», и там, голодая, бедствуя, пиша для заработка фельетоны, сочиняли в свободное от работы время «Белую гвардию» или «Зависть». Но они-то были беспартийные поповские либо дворянские дети и внуки с сомнительным белогвардейским прошлым и к тому же к паровозам, гудкам и прочей машинной дребедени довольно равнодушные. А «техническому человеку» Андрею Платонову, железнодорожнику и сыну железнодорожника, на железные дороги молившемуся, досконально знавшему и где только их не описывавшему, участнику Гражданской войны, пусть не самому активному, но однозначно на стороне красных, сам Бог велел именно в этой газете работать. Случись так — мы имели б еще более яркое гудковское содружество, случись так — произошла бы личная встреча двух великих — красного Платонова и белого Булгакова, приведшая бы к образованию сверхновой звезды либо черной дыры, но лично друг с другом незнакомые два сына века оказались связанными лишь посредством третьего — Виктора Борисовича Шкловского, угодившего в качестве героя и в «Белую гвардию» на роль Шполянского, и в «Чевенгур» на роль Симона Сербинова. Гудковский сюжет был в судьбе Платонова тем вероятнее и практически осуществимее, что в 1918 — 1919 годах в Воронеже проживал и активно работал как издатель поэт-большевик, друг Анны Ахматовой Владимир Иванович Нарбут, который перетащил в «Гудок» Олешу с Катаевым (последний вывел Нарбута в образе колченогого в «Алмазном моем венце»). Но хотя Платонов в пору деятельности Нарбута уже печатал в Воронеже стихи, колченогий внимания на него не обратил и в свой журнал не позвал. В жизни Платонова невстреч было вообще гораздо больше, чем встреч…

Но одна и очень важная встреча в те годы у него произошла. Парал­лельно с устройством, а вернее с неустройством литературных дел в 1921 году Андрей Платонов женился или, точнее, вступил на путь, приблизивший его (ибо брак был оформлен лишь в 1943 году) к этому уникальному событию в его жизни. Уникальному по двум причинам. Во-первых, потому, что, вопреки совету, который писатель Алексей Толстой дал писателю Михаилу Булгакову — жен, батенька, надо менять и настоящий писатель должен жениться не менее трех раз, Платонов был женат единожды и на всю жизнь. А во-вторых, никто от не просто скромного, но яростно не приемлющего женскую любовь Андрея, утверждавшего, что «человек должен стремиться к соединению со всеми, а не с одной», ибо «в этом нравственность пролетария», такого поступка не ожидал, и можно предположить, что позднее эта ситуация в той или иной степени отразилась в повести «Эфирный тракт»:

«— Тебе, Егор, влюбиться надо! — говорили ему друзья. — Эх, напустить бы на тебя хорошую русскую девушку, у которой коса травою пахнет!..

— Оставьте, — отвечал Егор. — Я сам себя не знаю куда деть! Знаете, я никак не могу устать — работаю до утра, а слышу, что мозг скрежещет и спать не хочет!

— А ты женись! — советовали все-таки ему.

— Нет, когда полюблю прочно, в первый раз и на всю жизнь, тогда...

— Что тогда?

— Тогда... уйду странствовать и думать о любимой.

— Странный ты человек, Егор! От тебя каким-то старьем и романтизмом пахнет... Инженер, коммунист, а мечтает!..»

Если учесть, что за этим диалогом стояли реальные переживания реального и несколько сумасбродного молодого человека, который сам не знал, что ему с собою и собственной непослушной природой делать, то вот вопрос: какой должна быть девушка, сумевшая расколдовать закованную в латы целомудрия, изнемогающую от страсти плоть и мечтательную душу, не дав ускользнуть ей в вечное бродяжничество или же пойти по затворническому, по федоровскому пути?

Эту необыкновенную женщину звали Марией Александровной Кашин­цевой. Она была дочерью Александра Семеновича и Марии Емель­яновны Кашинцевых, приехавших в Воронеж в 1918 году. Мария Александровна родилась 14 апреля 1903 года в Петербурге, там училась в гимназии и, таким образом, по социальному происхождению была уроженцу Ямской слободы не чета, да к тому же очевидная «дочь буржуазии» со всеми вытекающими отсюда душевными свойствами. «В классовом невежестве смешна, но по классу двоюродная сестра», — писал Платонов в шутливом стихе, а сама Мария Александровна меж тем вела свое происхождение от графского рода Шереметевых.

В ее жизни была еще одна романтическая предыстория. В 1918 году в Петрозаводске — туда сначала уехала семья Кашинцевых из Петрограда, спасаясь от голода, но долго не задержалась — в 15-летнюю гимназистку влюбился командир Красной армии Леонид Александров, которого Маша благословила на борьбу с Юденичем. Платонов об этом сюжете знал. «Тебе легче забыть меня, потому что ты знала Александрова», — писал он в одном из писем, и образ революционного командира в той или иной степени отразился в чертах Копенкина, что особенно чувствуется в ранних редакциях романа «Строители страны» — будущего «Чевенгура».

В Воронеже Мария Александровна поступила в университет, переменила несколько факультетов, и, как вспоминала много лет спустя, именно в университетской библиотеке весной 1921 года произошло ее знакомство с рабочим поэтом: «Однажды, придя в читальню, я увидела нового студента, который стоял с группой товарищей и очень громко говорил: „А что такое филология?” Позднее я узнала, что у этого студента было больше двухсот публикаций в газетах, журналах, альманахах, но в наш студенческий журнал Платонов ничего не хотел давать».

Существуют также устные воспоминания Марии Александровны, записанные журналистом Евгением Одинцовым (впервые они были опубликованы в «Общей газете» в 1999 году, к столетию писателя): «На одном из вечеров памяти его 80-летия, в Чеховском доме-музее — [она] показала мне на огромного толстого, неряшливо одетого старика с разбухшим портфелем: „Вот он меня, это Зенон Балабанович, в 20-м году в Воронеже познакомил с Платоновым, привел его ко мне в общежитие, я училась на литфаке университета, я тогда фыркнула еще: „Фи, какой!”, а потом...»

Как бы то ни было, они встретились. «Андрей пришел к нам в дом такой крепкий, ладный, но у него какой-то особый вид был, не как у всех. Мрачноватый и малоразговорчивый Андрей был. На нем всегда была гимнастерка, вечно засаленная, потому что он постоянно возился с какими-то механизмами, инструментами, все изобретал, ремонтировал что-то», — рассказывала позднее младшая сестра Марии Александровны Валентина. И хотя вокруг Маши вились блестящие молодые люди, например «известный в городе человек», платоновский товарищ Георгий Степанович Малюченко, рыжий Жорж, социально куда более ей близкий и, в отличие от аномального Платонова, обыкновенный — весельчак, женолюб, успешный деятель новой культуры (в 1918 году сын надворного советника Малюченко служил председателем театральной зрелищной комиссии), но безо всей этой философской и революционной зауми, она выбрала или же уступила другому — мрачному. Хотя быть женой Андрея Платонова оказалось трудным счастьем, но это выяснилось позднее, если только не принимать во внимание, что еще в пору самого начала их почти тридцатилетней совместной жизни молодой муж написал:

Баю-баю, Машенька,  
Тихое сердечко,  
Проживешь ты страшненько  
И сгоришь, как свечка…

Слова, которые скорее подошли бы к нему самому, или же отвел он от жены страшненькое пророчество ценой собственной жизни…

По-своему предыстория появления юной Марии в Воронеже и ее знакомство с Платоновым описаны в очерке Исаака Крамова «Платонов», автор которого основывался на беседах с Марией Александровной Платоновой в последние десятилетия ее жизни, когда память могла подвести, и, например, дата знакомства с Платоновым названа, очевидно, неверно, а Жорж окрещен заезжим артистом. Зато все остальное заслуживает куда большего доверия.

«Отец привез ее в 1919 году из Петрограда в Воронеж — спасал от голода. Она заканчивала здесь школу, зарабатывала — нужен был паек, ходила переписывать бумаги, получала плату хлебом и солдатским бельем, сбывала белье на рынке.

— Страшно жили, — говорит она задумчиво. И тут же: — Воронеж, какой хороший был город. Дворянские особняки в центре, красивые. Какая культурная жизнь была. И люди — веселые, интересные, крупные люди, командиры Гражданской войны. Мне нравились.

С Платоновым познакомилась в 1922 году — познакомил заезжий артист. Платонов — густая шевелюра, большие серо-голубые глаза (есть фотография) — поэт, журналист, мыслитель — местная знаменитость. Печатался в воронежских газетах, выступал на вечерах. Встречались у городского театра и ходили вокруг театра часами».

В этих мемуарах акценты расставлены иначе — и девушка попроще, и юноша познаменитей. Так что никакого мезальянса не было — напротив, случилась обыкновенная русская история: гений соединился с чистой красотой. Маша была действительно очень красива, это признавали все, кто ее знал, молода, обаятельна, артистична (она обладала прекрасным голосом, пела и позднее, уже в Москве, брала уроки у певицы Евгении Ивановны Збруевой), хорошо воспитана — дворянское происхождение и столичное образование давали о себе знать, и с тех пор, как Платонов стал за ней ухаживать и добился ее благосклонности, рассуждений о вредоносности пола в его публицистике заметно поубавилось, ни уничтожать, ни изничтожать женщин он боле не собирался, а, напротив, писал то прозой: «Всякий человек имеет в мире невесту, и только потому он способен жить. У одного ее имя Мария, у другого приснившийся тайный образ во сне, у третьего печная дверка или весенний тоскующий ветер», а то стихами:

Я не мудрый, а влюбленный,  
Не надеюсь, а молю.  
Я теперь за все прощенный,  
Я не знаю, а люблю.

Да и более поздняя (лето 1922 года), злая и не слишком справедливая рецензия Платонова на книгу философа Льва Платоновича Карсавина «Петербургские ночи» («Л. Карсавин не имеет ни сердца, ни семени — и ненавидит их. Для него никогда не было любимой, русской девушки Маши… Для него любовь — религия, философия, литература, все что угодно, только не крик будущего, не движение семени, не физиология, не теплота, не мужество и не физическая сила…») интересна в первую очередь тем, что косвенно указывает на реабилитацию основополагающих природных сущностей, против которых рецензент яростно восставал в иных из своих статей в «Воронежской коммуне» до знакомства с девушкой Машей.

Их роман строился в соответствии с духом настоящего времени и уважением к традициям прошлого. «Марии. Вся моя жизнь была только предчувствием Вас. Андрей», — написал Платонов своей избраннице на брошюре «Электрификация», которая стала его первой авторской книгой.

С какими чувствами читала девушка рассуждения о том, что «электричество — легкий, неуловимый дух любви», что «электрификация есть осуществление коммунизма в материи — в камне, металле и огне… наша дальнобойная артиллерия в борьбе с этой природой», не ясно, но Исааку Крамову она позднее рассказывала о том, что «тоже в молодости начинала писать. Это Платонов превратил меня в домашнюю хозяйку».

Но прежде чем это произошло, летом 1921 года, студентку Кашинцеву отправили в отстоявшее от Воронежа на 60 верст село Верхнее Волошино для ликвидации крестьянской неграмотности. Как следует из рассказов Марии Александровны, а также из набросков к ее автобиографической повести «История молодого человека и молодой девушки 20 века», в деревню она напросилась сама, «испугавшись своего чувства к Платонову». «Поняв, что А. занял в ее сердце огромное место, она бежит в деревню, на работу. Только что ее отец и мать окончательно разошлись. И любовь А. пугает ее. Она травмирована — раздоры отца и матери довели ее до того состояния, что она не верит ни в какое чувство».

Драматизм отношений молодых людей ХХ века отразился и в недавно опубликованной переписке Платонова с невестой.

«Мария, я вас смертельно люблю. Во мне не любовь, а больше любви чувство к вам. Восемь дней мое сердце в смертельной судороге. Я чувствую, как оно вспухает во мне и давит душу. Я живу в каком-то склепе, и моя жизнь почти равна смерти. Днем я лежу в поле в овраге, под вечер прихожу в город и иду к Вам. А у Вас я как-то весь опустошаюсь, во мне все стихает, я говорю великие глупости, я весь болею и хожу почти без сознания. <…> Не жалости и не снисхождения я хочу, а Вас и ваше свободное чувство.

Переполняется во мне душа, и не могу больше говорить. Поймите мое молчание, далекая Мария, поймите мою смертную тоску и неимоверную любовь. <…> Простите меня, Мария, и ответьте сегодня, сейчас. Я не могу ждать и жить, я задыхаюсь, и во мне лопается сердце. Я Вас смертельно люб­лю. Примите меня или отвергните, как скажет Вам Ваша свободная душа.

Я Вас смертельно люблю».

Судя по всему, слова эти не подействовали, и в следующем сохранившемся письме второй половины 1921 года терзаемый ревностью Платонов свою возлюбленную благородно отпускал: «Я вложил и отдал Вам душу, талант, возможность великого и общего будущего — и мне ничего, никогда. Я снова один, всегда один, и никто не избавит меня от одиночества. И говорить все это зря — ничего не поймете. И пусть поблагодарит меня Ваш будущий друг, что я оставил Вас еще более чистой, святой и прекрасной, чем узнал. Мне ничего не нужно — с меня довольно. Я беру, когда дают, и не вырываю из рук. А у меня Вас рвут — и я отдам, потому что я не на земле живу — не в мире животных. И, отдав Вас, я приобрету Вас — навсегда».

«И опять дальше смертельная любовь, тоска, вселенная, поля и кладбища, и я один среди них, радостных, сытых людей земли, один с точным ослепительным знанием, что я не их, не из этого мира. Мне нужно невозможное, но невозможное — невозможно.

Когда я вижу ее лицо, мне хочется креститься. И я знаю, что Вы меня не поймете никогда. Если бы поняли — сказали бы давно, но Вы молчите, молчите. Боже мой, нет во мне слов. Заперта во мне Вами душа, Вы только можете ее отпереть. Месяц назад я был богат и полон как царь, теперь я странник».

Но однажды произошло то необратимое изменение в их отношениях, что связало Андрея Платоновича и Марию Александровну на всю жизнь.

«Родимая прекрасная Мария.

Мне сегодня снился сон: на белой и нежной постели ты родила сына. <…>Маша. Знаешь, как нет во мне страсти к тебе и есть только что-то другое. Будто я был нем, безмолвна была тысячелетия душа моя — и теперь она поет, поющая душа. Не страсть во мне, а песнь, а музыка души. Страшная сила скопилась во мне и предках моих за века ожидания любви, и вот теперь эта сила взорвалась во мне».

Подобных поэтических, взрывных писем Платонов писал много, он посылал любимой стихи, описывал свою невозможную любовь в ранней прозе, но как относилась к нему она, сказать трудно. На обороте одного из писем 1921 года сохранился ответ благоразумной барышни хулигану: «Ваше чувство не ко мне, а к кому-то другому. Меня же Вы совсем не можете любить, потому что я не такая, какою Вы идеализируете, и еще — Вы любите меня тогда, когда есть луна, ночь или вечер — когда обстановка развивает Ваши романтические инстинкты. Муся». А еще одна дошедшая до нас фраза гласит: «То, что ты говоришь и делаешь, две совершенно разные вещи, — где же конец?»

Это непонимание они пронесли через всю жизнь, и трудное семейное счастье, конфликты, обиды, ссоры, размолвки, ревность, о чем до последнего времени ничего известно практически не было, стали еще одним из узлов очень негладкой платоновской жизни и судьбы. Да и нежелание зарегистрировать брак исходило от нее, не от него. Она как будто для себя окончательно еще ничего не решила, была готова Платонова в любой момент оставить, и эта угроза ощущалась им всю жизнь, мучила его, изводила и… вдохновляла. Мало какая женщина отразилась в сочинениях своего мужа так, как Мария Алексан­дровна в повестях, романах, рассказах Андрея Платонова.

В Волошине она проработала по апрель 1922 года, знаменитый рабочий с журналистским удостоверением ее с радостью, мукой и нетерпением сердца навещал, и впечатления, полученные им во время пеших переходов из Воронежа в Волошино и от пребывания там, впоследствии легли в основу рассказов и повестей: «Данилок», «Бучило» и особенно «Песчаная учительница» и «Эфирный тракт».

Но еще раньше Платонов писал «в напоминание, в вечное сердечное чувство деревеньки Волошино, школы в ней и мельницы напротив» в одном из прозаических фрагментов: «Я шел по глубокому логу. Ночь, бесконечные пространства, далекие темные деревни и одна звезда над головой в мутной смертельной мгле... Нельзя поверить, что можно выйти отсюда, что есть города, музыка, что завтра будет полдень, а через полгода весна. В этот миг сердце полно любовью и жалостью, но некого тут любить. Все мертво и тихо, все — далеко. Если вглядишься в звезду, то ужас войдет в душу, можно зарыдать от безнадежности и невыразимой муки — так далека, далека эта звезда. Можно думать о бесконечности — это легко, а тут я вижу, я достаю ее и слышу ее молчание, мне кажется, что я лечу, и только светится недостижимое дно колодца, и стены пропасти не движутся от полета. От вздоха в таком просторе разрывается сердце, от взгляда в провал между звезд становишься бессмертным.

А кругом поле, овраги, волки и деревни. И все это чудесно, невыразимо, и можно вытерпеть всю вечность с великой, неимоверной любовью в сердце…»

Это лирика. Но был у Платонова и другой, более приземленный, «чеховский» взгляд на деревню: «Скорбь и скука в одиннадцать часов ночи в зимней деревенской России. Горька и жалостна участь человека, обильного душой, в русскую зиму в русской деревне, как участь телеграфного столба в закаспийской степи».

«…Каждые десять-двенадцать дней Платонов приходил в деревню. Замерзший, весь в ледяных сосульках. Было страшно за него. В сельсоветах ему не всегда давали лошадей, хотя у него был корреспондентский билет от газеты „Воронежская коммуна”, и ему выпадало преодолевать десятки километров пешком по степи, а кругом рыскали волки», — вспоминала М. А. Платонова много лет спустя.

Именно той зимой 1921 — 1922 года был зачат их первый ребенок — Платон, который, можно предположить, и сблизил молодых людей окончательно, и предрешил их дальнейшую судьбу. «Зима дадена для обновления тела. Ее надо спать в жаркой и темной норе, рядом с нежной подругой, которая к осени снесет тебе свежего потомка, чтобы век продолжался…» — писал Платонов явно не о ком-то постороннем, но о самом себе в рассказе «Душевная ночь».

Однако были в семейной жизни Платонова свои драмы. Две самые дорогие женщины, две любимые Марии были в жизни Андрея Платонова — мать и жена, но ни взаимопонимания, ни любви меж ними не было, и это больно ранило их сына и мужа, неизбежно заставляя делать невыносимый, невозможный для себя выбор.

«Вот вы! Зачем так рвете сердце, Мария? По всему телу идет стон от тоски и любви. Зачем и за что я предан и распят, и нет и не будет конца. Но знайте, будет и мне искупление. <…> То, что Вы не пришли к маме, мне многое доказало. Я погибну».

Эта развилка в платоновской жизни была тем драматичнее, что в детстве Андрей был невероятно привязан к матери. Позднее, в годы войны, в рассказе «Полотняная рубаха» его герой танкист Иван Фирсович Силин будет вспоминать свои ранние годы: «И помню, как я горевал, как плакал, когда мать уходила на работу; до вечера я тосковал по ней и плакал. И где бы я ни был, я всегда скорее бежал домой — со сверстниками-ребятишками я играл недолго, скучать начинал, за хлебом в лавку пойду — обратно тоже бегу и от хлеба куска не отщипну, весь хлеб целым приносил. А вечером мне было счастье. Мать укладывала меня спать и сама ложилась рядом; она всегда была усталая и не могла со мной сидеть и разговаривать. И я спал, я сладко спал, прижавшись к матери… я целовал ее нательную рубаху и гладил рубаху рукою, я всю жизнь помню ее теплый запах, этот запах для меня самое чистое, самое волнующее благоухание…»

Нет сомнения, это можно было написать, лишь если пережил сам. Однако в 1922 году между Платоновым и его матерью произошел своеобразный разрыв: после возвращения молодой жены из деревни в апреле, причем можно предположить, что именно беременность стала причиной прерывания «контракта» с местной школой, и вряд ли Мария Александровна сильно жалела о том, что ее карьера сельского шкраба завершилась («Паек учительницы в тот год собирался подворно, но учить детей советскому добру крестьяне не посылали и школа была не нужна»), старший сын ушел из родительского дома и стал жить на квартире у Кашинцевых.

«Семья Андрея жила не так далеко от нас, в Ямской слободе, кажется, — вспоминала младшая сестра Марии Александровны Валентина. — Она была около леса. Дом их был как барак: деревянный, длинный. И когда я первый раз пришла к ним, поразилась даже: одна большая комната, и стоят скамейки, стол большой во всю комнату и печка русская. Мне, городской, вначале странно все это было видеть».

Должно быть, еще более странно было видеть эту бедность и людскую скученность молодой жене, которую Лев Гумилевский позднее причислил — справедливо, нет ли — к числу женщин, «избалованных мужьями и жизненными удачами», — хотя какие уж там были особые жизненные удачи у Андрея Платонова? — а писатель Семен Липкин и вовсе назвал «злой и холодной».

Так или иначе они могли друг друга невзлюбить — битая жизнью жена воронежского железнодорожника и избалованная в глазах свекрови да к тому же разлучница — увела сына от матери — петербургская барышня-невестка. Примирить двух Марий в жизни Платонов не сумел, но обеим посвящал свои произведения. Самое известное из посвященных матери — рассказ «Третий сын». В нем умершую старуху по ее завещанию приходит отпевать священник. Мария Васильевна Климентова действительно была очень религиозна, и, по всей вероятности, именно она настояла на том, чтобы ее внук был крещен. Случилось это аккурат на пятую годовщину Великого Октября, Платонов при совершении таинства присутствовал, свидетельством чему служит сохранившаяся запись в приходской книге Вознесенской кладбищенской церкви о крещении «младенца Платона 7 ноября 1922 года (родился 25 сентября) в присутствии родителей: Андрея Платоновича Климентова-Платонова и Марии Александровны». Правда, молодой отец находился к той поре уже за бортом богопротивной партии, из которой наполовину вышел, наполовину был изгнан в конце 1921 года.

Но сначала о другом и очень горестном происшествии в семье Климентовых. «Андрей был старший. Еще братья были — Петр, Сергей и Митя и сестры — Надя и Вера. С Верой я особенно подружилась, — вспоминала Валентина Александровна. — Мы были ровесницами, мне было двенадцать в то время, и мы вместе выступали в детском самодеятельном коллективе. Надя и Митя — подростки, очень хорошие, умные были. И вот они однажды поехали в пионерский лагерь. Я тоже должна была с ними ехать, но задержалась: на белье не были сделаны метки. И вдруг через некоторое время, когда я с одним мальчиком должна была поехать, сообщают, что в лагере погибли подростки и учителя, всего 21 человек. И Надя с Митей тоже погибли. Все они отравились грибами, которые там собрали. Так случилась первая трагедия в семье Платоновых...»

Две внезапные детские смерти, ставшие, как очень скоро оказалось, нечаянными предвестниками общенациональной катастрофы, поразили и в каком-то смысле определили душевное состояние молодого человека, испытавшего почти одновременно счастье любви и ужас утраты. «Вы не знаете, наверное, что такое судороги сердца. Первый раз я узнал это, когда нашел в больничном сарае мертвую сестру. Она лежала вечером на полу. Было тепло и тихо, и я прилег с ней рядом и сказал ей что-то. Она лежала, замолкшая и кроткая, но не мертвая», — писал Платонов Марии Кашинцевой, а в романе «Строители страны» два его героя Дванов и Гратов дают клятву на могиле умершего брата Дванова отомстить природе за эту смерть. Тема возмездия природе станет ключевой в платоновских исканиях той поры, но трагедия лета 1921 года повлияла не только на слова, которые Платонов писал, но и на поступки, которые он совершал.

В том числе это напрямую коснулось коммунистического сюжета. Драматизм и даже некоторая зловещая его ирония состоят в том, что еще в июле Платонов выступил в воронежской печати с острыми статьями, касающимися членства в РКП(б).

«Что такое коммунисты? Это лучшие люди, передовые борцы человечества. Люди, которые умеют любить больше дальнего человека, чем ближнего. Люди, которые любят себя больше в *будущем* человечества, чем себя в настоящем и, несмотря на их *физическую* зависимость от сегодня, умеют духовно всецело отдаться завтра.

И я не представляю себе, чтобы искренний коммунист, человек беспредельного будущего, связь с которым, заметьте, может быть осуществлена только через партию, мог с легким сердцем примириться с исключением из ее рядов, из рядов коллектива, который больше, чем какой-либо другой, носит в себе зачатки коммунистического человечества. <…> Это не коммунист, а *мещанин*, индивидуалист».

Так что же такое должно было произойти, чтобы создатель этих пламенных и искренних строк, подписавшийся *Коммунист,* вдруг сам вышел из рядов РКП(б), то есть в системе собственных координат превратился в мещанина-индивидуалиста?

В статье «Коммунист принадлежит будущему» Платонов выдвинул два тезиса: первый — необходимо проводить *систематическую* (подчеркнуто автором) чистку в партии, освобождая ее от чистокровных лавочников, «нравственно, морально почаще проверять наших членов, перетряхивать их, и перетряхивать решительно», но в то же время — и это второй тезис — «нужно позаботиться *о быте* коммунистов и сделать все возможное, чтобы не допустить понижения физического и духовного уровня наших товарищей. Это в интересах партии, интересах человечества».

То есть, говоря проще, число коммунистов надо подсократить, а оставшихся подкармливать, чтобы «жизнь не заставила нас думать слишком много о том, что нас в настоящее время в материальном отношении отягчает».

Из всей платоновской публицистики, какие бы сумасшедшие идеи в ней ни провозглашались, эта кажется не самой фантастической, но самой не андрейплатоновской. Впечатление такое, будто ему ее нашептали, либо, увлекшись любовью к дальнему, он просто не отдавал себе отчета в том, к чему призывает. И — получил очень резкое возражение по существу.

Автором реплики оказался хороший знакомый Платонова журналист Георгий Плетнев, опубликовавший 18 июля 1921 года в воронежской газете «Огни» статью «О коммунисте», из которой *коммунист*, то есть Андрей Платонов, мог узнать, что он партийный фанатик, и прочесть следующий горький абзац:

«Очень легко быть коммунистом, будучи „барином”, не заботясь ни о чем лично-материальном. Таких коммунистов, к сожалению, много и может расплодиться по рецепту автора статьи бесчисленное количество. Грош цена такому коммунисту. Ты голодай вместе со всеми, ходи оборванным, босым, как и все, болей нуждами всех и будь коммунистом! Только такой коммунизм и можно признать, только такие коммунисты и есть настоящие коммунисты».

Платонов дал ответ три дня спустя, назвав своего оппонента жалким мещанином и в очередной раз пропев «осанну» партии, которая изгоняет тех, кто любит ее недостаточно глубоко, а от вопроса о коммунистических льготах и привилегиях фактически уклонился: «О том, что о коммунистическом быте все-таки нужно позаботиться, несмотря на то, что коммунист Плетнев считает, что коммунисты обязательно должны ходить босыми и голодными, и об аскетизме вообще и Плетневых в частности я позволю себе высказаться в следующей статье».

Однако в следующих статьях ему пришлось высказываться совсем по другим темам, косвенно признав правоту своего оппонента, ибо к тому времени стало очевидно, что в стране случилась подлинная трагедия, на фоне которой дискуссия о бегстве или небегстве из партии теряла всякий смысл, и если Платонов и обращался к коммунистам и их быту, то с единственным призывом — отказаться от золота и драгоценных предметов.

«Тяжелое стихийное бедствие свалилось на нашу трудовую республику: миллионы наших братьев — рабочих и крестьян Поволжья, постигнутые неурожаем, переживают кошмарные минуты голода», и это событие заставило его совершенно по-иному взглянуть на роль не только искусства, но и журналистики и вместе с тем — на свою судьбу.

«Что сейчас делается в Поволжье? Это трудно вообразить днем, когда кругом светло и видим простые, скучные причины хода явлений. <…> какая скука только писать о томящихся миллионах, когда можно действовать и кормить их. Большое слово не тронет голодного человека, а от вида хлеба он заплачет, как от музыки, от которой уже никогда не заплачет. <…>

Наши песни — наши руки, а не жидкие слова и не веселые театры, где люди гасят безумное бешенство своих сытых кровей».

Отсюда прямой путь *из* литературы, здесь объяснение, почему Андрей Платонов ушел в гидрофикацию и занялся строительством плотин («Засуха 1921 г. произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление, и, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом — литературой», — отмечал он в автобиографии 1924 года), но прежде он успел написать еще несколько яростных статей.

«Есть в душе человека позорная черта: неспособность к долгому пребыванию на высотах страдания и радости… Душа человека — реакционное существо, дезертир кровавого поля жизни, предатель героя — действительности…

Долой сострадание, жалкое кипящее сердце, долой человека, признающего себя дробью и пылинкой, самой по себе!

Человечество — одно дыхание, одно живое, теплое существо. Больно одному — больно всем. Умирает один — мертвеют все.

Долой человечество-пыль, да здравствует человечество-организм…

Беспощадность, сознание, распыление волжского страдания по всей России, наложение на каждого человека, от Ленина до грузчика, камня голода — пусть каждый несет и не гнется, — вот что надо…

Поволжье — один из станков России-мастерской. Он стал и в буйном крушении рвет наши трансмиссии и контакты. Он должен быть исправлен, чтобы установилось равновесие работы и не полетела к черту вся мастерская.

Будем героями в работе, мысли и борьбе. Будем человечеством, а не человеками в действительности».

Никогда платоновское перо не было таким раскаленным и яростным, никогда в запальчивости своей, в зашкаленности оно не приближалось к тому пределу, за которым наступает бессилие слова и доктор Фауст вносит поправку в Евангелие: «В начале было дело». «Новым Евангелием» назвал одну из своих статей и Платонов, закончив ее обещанием устроить Страшный суд над вселенной, однако отрицаемая автором действительность призывала спуститься с небес на жаждущую воды, знойную землю, как уже было в случае с «Чульдиком и Епишкой», и так оказалось, что нелепый, абсурдный в глазах большинства читателей рассказ с его вроде бы ничем не мотивированным пожаром, гибелью людей и кладбищем, рассказ-предчувствие, рассказ-катастрофа, стал пророческим, а автор от слов перешел к делам, и первым из них стало его освобождение от оков РКП(б), а точнее — от кандидатов в оные.

Утверждать напрямую, что Платонов вышел из партии коммунистов непосредственно по причине разразившегося в стране голода — значило бы притягивать факты за уши, но несомненно воронежский журналист был электрически сражен в ту пору разностью потенциалов, несоответствием масштабов трагедии страны и бюрократической повседневности партийной жизни, с которой он столкнулся и о которую споткнулся во второй половине 1921 года. Следы недовольства Платонова партией, которой он еще в июле пел гимны, можно найти в написанной в августе — сентяб­ре, но не опубликованной аж до 1999 года от Рождества Христова статье «Всероссийская колымага»:

«На пути к коммунизму Советская власть только этап. Скоро власть перейдет непосредственно к самим массам, минуя представителей... Мы накануне наступления масс, *самих масс*, без представителей, без партий, без лозунгов.

Рабочие массы скоро возьмут власть в свои руки без представителей, без учреждений, без исполнительных органов. Масса бесчленна.

Об этом подробно напишу, если советская печать и власть увидит в этом выступлении непосредственно самих масс путь к коммунизму и высшую, следующую форму рабочей диктатуры и не испугается этого мощного взрыва красной энергии».

Советские власть и печать перепугались. Перспектива выступления масс без партий и представителей, а тем более в 1921 году, когда еще свежи были воспоминания о подавленном кронштадтском восстании и лозунгах «За советы без коммунистов!», едва ли могла их порадовать, и в глазах Платонова бездействующая партия потеряла былой ореол святости. Но не потому, что она предала революцию. Она предала нечто более существенное — 25 миллионов голодных.

Однако к этим страстным порывам добавились и обстоятельства чисто житейские, окончательно отвратившие кандидата в члены РКП(б) от нее самой.

Случилось так, что летом, как раз накануне голода, Платонов был зачислен в курсанты губернской советско-партийной школы. Зачислен по личному заявлению, а не по разнарядке, хотя трудно сказать, какие цели он преследовал, поступая на учебу в заведение, также именуемое губернским Рабоче-крестьянским коммунистическим университетом.

В его стенах ему было откровенно скучно, научить его там ничему не могли, то был в чистом виде советский феномен — занудная смесь бессмысленности, тягомотины, а в 60 верстах от университета в деревне жила невеста и занималась настоящим делом — учительствовала. А еще была работа в газете, где Платонов заведовал отделом, были встречи с крестьянами, которых он призывал учиться орошать землю, и это было настоящее, подлинное, нужное, а то — глупость, чепуха. Живое и мертвое столкнулись друг с другом, и соединить их в своей душе он, умевший соединить, казалось бы, невозможное, не смог. Окажись рядом Литвин-Молотов, все сложилось бы иначе, но Георгия Захаровича в Воронеже уже почти год как не было, и 30 октября 1921 года на заседании комиссии по пересмотру, проверке и очистке личного состава РКП(б) было рассмотрено персональное дело 99 курсантов губсовпартшколы, Андрея Платонова в их числе.

«Платонов А., канд. РКП с 20 г., билет № 33/54, рабочий, курсант. Отзыв ячейки как об отказывающемся посещать партсобрания, говоря, что я все, мол, знаю».

И самое обидное для ячейки в этом раскладе было то, что он действительно знал все, а когда и кому такое прощалось? В тот же день в отношении курсанта губсовпартшколы Платонова было принято синтаксически косноязычное решение (как некая нечаянная пародия на будущее косно­язычие героев самого виновника торжества): «Тов. Платонова исключить из кандидатов РКП как шаткого и неустойчивого элемента, недисциплинированного члена РКП, манкирующего всякими партийными обязанностями, несмотря на свое развитие, сознательно уклоняется».

Таким образом, в соответствии с этими, впервые опубликованными воронежским исследователем О. Г. Ласунским, документами Платонов был из партии исключен. Правда, два с половиной года спустя, вновь попытавшись вступить в партию, бывший коммунист иначе написал об этом инциденте: «…с конца 1919 г. по конец 1921 (точных дат не помню) я был в партии большевиков, прошел чистку и вышел по своему заявлению, не поладив с ячейкой (вернее, с секретарем ее). В заявлении я указывал, что не считаю себя выбывшим из партии и не перестаю быть марксистом и коммунистом, только не считаю нужным исполнять обязанности посещения собраний, где плохо комментируются статьи „Правды”, ибо я сам их понимаю лучше, считаю более нужной работу по действительному строительству элементов социализма, в виде электрификации, по организации новых форм общежития, собрания же нужно превратить в искреннее, постоянное, рабочее и человеческое общение людей, исповедующих один и тот же взгляд на жизнь, борьбу и работу.

Я считаю, что такой поступок мой был отрицательным, я личное счел обязательным для всех, я теперь раскаиваюсь в этом ребяческом шаге и не хочу его ни преуменьшать, ни замалчивать. Я ошибся, но больше ошибаться не буду».

Кто кого исключил, Платонов партию или она его, остается открытым, но примечательно и даже удивительно, что карьере мелиоратора, журналиста и даже литератора факт выбывания из РКП(б) в дальнейшем фактически не помешал, как не помешало и то, что в декабре 1921-го последовало отчисление курсанта Платонова из губернского Рабоче-крестьянского коммунистического университета, который он, правда, уже давно забросил.

Уход Платонова из литературы и журналистики в мелиорацию был меньше всего эффектным литературным жестом или продуманным тактическим ходом делающего себе биографию пролетарского писателя. Это был поступок, это был протест, это была, если угодно, жертва, особенно значимая потому, что публицист, поэт, прозаик Андрей Платонов был в Воронеже звездою первой величины и ему было что терять и от чего отказываться. В конце января 1921 года он был вновь делегирован в Москву, на сей раз на Второй Всероссийский съезд работников печати, но, как справедливо заметила московская исследовательница Елена Викторовна Антонова, «это второе из известных нам посещений Москвы для Андрея Платонова имело и другую, думается, более важную цель. Сохранилось удостоверение, выданное ему в январе 1922 года: „Выдано сие Губэкономсовещанием Воронежского Губисполкома председателю Чрезвычайной комиссии по борьбе с засухой т. Платонову Андрею Платоновичу в том, что он действительно командируется в Наркомзем для получения инструкций и специальной литературы по общим вопросам развития сельского хозяйства и по борьбе с засухой”».

5 февраля 1922 года А. П. Платонов поступил на работу в губернское земельное управление в качестве председателя комиссии по гидрофикации. Планы у него были грандиозны, особенно после того как в конце 1921 года по его инициативе была создана, а точнее пока еще только задумана организация под названием Земчека — «губернский боевой штаб сельскохозяйственного фронта, созданный против расплясавшихся смертельно опасных стихий, грозящих сплошным истреблением русского народа и революции», «кулак, штык и машина человека-революционера против природы». Автор тех пламенных строк предполагал, что деятельности учреждения будут помогать, а при необходимости подчиняться ей местные органы советской власти. Однако ничего из его затеи не вышло, и уже две недели спустя после своего назначения, когда «черный реввоенсовет» был превращен в прозаический и фактически бессильный Энергзем (губернскую сельскохозяйственную энергетическую комиссию), Платонов с горечью признал, что тяжелую артиллерию на войне с врагом заменил простой кастет и причина тому — «обычное безденежье, организационная слякоть и то бюрократическое кольцо, которое не минует никого».

Позднее именно по этому кольцу будет бить Платонов и в «Городе Градове», и в «Усом­нившемся Макаре», но бить так резко, что удары обернутся против него самого, а пока что в первой половине 20-х, несмотря на заведомое численное превосходство противника, руки у председателя не опустились, а практическая деятельность продолжилась в тех обстоятельствах, которые были ему даны. 15-м марта 1922 года датируется постановление Воронежского Губземотдела о назначении т. Пла­тонова политическим руководителем отделения с.-х. мелиорации, правда, в подчинении у новоиспеченного политрука было всего четыре человека, которым не из чего даже было платить, и в докладной записке на имя председателя губернской комиссии по гидрофикации своего хорошего знакомого А. Г. Божко Платонов писал: «Мне громадного искусства стоит удержать сотрудников, которые работают только из сознания, так сказать, „святости” работ».

В бюрократических согласованиях и перетрясках прошел весь 1922 год, контора меняла название и в марте 1923-го была переведена на самоокупаемость и коммерческий хозрасчет, что начало приносить ощутимые результаты — строительство мельниц, запруд, электростанций.

В течение 1922 — 1926 годов достижения шли по нарастающей, хотя и не всегда одинаково ровно, Платонов много строил, ездил по губернии, встречался с самыми разными людьми, убеждал, не убеждал, добивался своего, не добивался, проектировал, устраивал опытные огороды, прочищал реки, строил шахтные колодцы, проводил изыскательские работы и эксперименты, чистил и зарыблял пруды, подбирал кадры, закупал оборудование, показывал деревенским жителям кино, давал объявления в газетах, составлял документы, писал отчеты и конфиденциальные циркуляры, то поражающие своей задушевностью и какими-то чеховскими в духе «Дяди Вани» интонациями («Я понимаю, что технический персонал переутомлен, что условия работ нелегки и пр. Но надо помнить, что отдых недалек… Придет время — мы отдохнем»), а то, напротив, устрашающие своим напором и требовательностью, с примерами из Салтыкова-Щедрина («Темп работ за последние недели упал необычайно низко… Нам безвольные трусы и пошехонцы не нужны. Нам требуется энергия, знание и бесстрашие, прокорректированное знанием. Воля, распорядительность, железная организация, четкое и точное выполнение приказов Москвы и ГЗУ нами будут оценены в высшую цену. Бесхарактерность, блуждание в трех соснах, лодырничество и нераспорядительность будут квалифицированы как политические преступления»). Он страдал от безденежья, жалуясь Литвину-Молотову на тяготы жизни, избирался в вышестоящие органы, ездил сначала в пролетке на жеребце, а потом получил в награду за труды старенький «форд», который сам водил, и все эти сюжеты прямо или косвенно отражались в литературной судьбе автора — в этом своеобразном советском жизнетворчестве-жизнестроительстве, каковое и не снилось мэт­­рам жизнетворчества — символистам, преимущественно занимавшимся уводом друг у друга женщин, стрельбой на дуэлях и отражением неудачных покушений, а потом сочинением на эти темы романов и стихов. Здесь же было дело практическое: сначала построить электростанцию, завоевав мужицкие умы и преодолев советские преграды, увидеть, что «свет упал в темную залу, как ливень», год спустя «родину электричества» потерять в результате злодейского кулацкого поджога, а потом написать о сих многих и интересных вещах-происшествиях рассказ и подраться из-за него в кровь с дурой-критикой — вот счастье, вот права!

Эта деятельность казалась на первый взгляд далекой от литературы, но в действительности кратчайшим и самым экономным путем к ней вела. Очень многое из впоследствии Платоновым написанного могло бы быть охарактеризовано как «Записки юного мелиоратора», хотя нетрудно представить, сколь трудно было ему, молодому идеалисту, мечтателю, утописту, грезившему о преобразовании земшара и покорении космоса, заниматься мелкими, по сравнению с этим громадьем, обыденными крестьянскими делами, и тот факт, что Платонов в течение четырех с лишним лет эту работу не оставлял, есть свидетельство стойкости, мужества и терпеливости его характера. Андрей Платонович, Платоныч, как звали его друзья, был в этом смысле, если продолжать сравнения с классическими героями русской литературы, своеобразным анти-Ионычем, человеком, не сломленным, не засосанным рутиной, и искренний интерес к практическим делам всегда отвечал самым сокровенным проявлениям его натуры. Недаром жившая все это время в одной квартире с Платоновыми Валентина Александровна Трошкина позднее вспоминала: «Андрей страшно беспокоился за землю. Он ее воспринимал как живую. Очень любил землю. Помню, как он беспокоился, что земля у нас высохнет. Мне кажется, что и мелиорацией он стал заниматься именно из-за этого. И электрификацией тоже. Хотел, чтобы люди скорей стали жить лучше, ведь кругом разруха была. У нашего дома с большими подвалами стояли старинные сараи, и Андрей с папой стали устраивать в одном из них мельницу, потому что мельница была далеко и люди мучились: негде было молоть муку. Андрей делал все основные колеса и еще что надо, отец ему помогал. Работали дотемна. И вот в этом сарае, в самом центре Воронежа, они сделали мельницу. Написали объявление, что они даром мелют муку. Думали, наверное, что вот-вот коммунизм придет и все без денег будет. В первый же день Бог знает что делалось: понаехало к нам со всех сторон, со всех деревень тьма-тьмущая народу. Но, кажется, всем смололи. А на второй, третий день стали уже выдыхаться, и через несколько дней все дело заглохло: видно, пороху не хватило и денег. Прогорели, в общем...»

Едва ли Валентина Александровна имела в виду «Чевенгур» с его пафосом даже не «вот-вот коммунизм придет», а коммунизм уже настал, и тем важнее ее непреднамеренное свидетельство нетерпеливости, непрактичности платоновского характера, глубинной связи между его жизнью и книгами. Он и вправду торопил пришествие нового времени, он был готов душу за него положить и последние деньги вложить, но при этом рядом с утопическими идеями и безрассудными поступками в молодом мелиораторе уживались вещи и дела чисто практические.

Так, о необходимости создавать капитал, сделав нэп пролетарским орудием, политический руководитель отделения сельхозмелиорации заговорил уже в опубликованной в апреле 1922 года статье «На фронте зноя», где от революционного пафоса 1920 — 1921 годов осталось одно название. Даже концовка этой «боевой сводки» вопреки привычке автора заканчивать свои мирные либо немирные статьи пламенными призывами или метафизическими умозаключениями оказалась суха и деловита — доклады, проекты, сметы, отчеты. Если вспомнить, что летом 1921 года во «Всероссийской колымаге» Платонов фактически отрицал возможность построения социализма в одной отдельно взятой стране и призывал к мировой революции («А чем дальше мировая революция, тем ниже качество русской революции. И каждый день отсрочки пролетарского восстания есть понижение на градус революционной температуры русского пролетариата…»), если не забывать того, что многие революционеры не смогли пережить нэп вплоть до того, что кончали жизнь самоубийством, то напрашивается естественный вывод о том, что Андрей Платонов, сколь ни был он горяч, к числу несчастных безумцев не принадлежал, и это косвенно корректирует версию Семена Липкина, высказанную в беседе с Е. Д. Шубиной, о том, что «Платонов говорил о своем выходе из партии так: был не согласен с нэпом — предательство, мол, революции». Спору нет, и такое могло быть сказано, и так могло казаться, так мог расценивать свою «смешную» юность Платонов годы спустя, но все же воронежский губмелиоратор при всей своей несомненной детско-юношеской левизне в коммунизме был изначально человеком очень широким, при отрицании действительности — реалистом в высшем смысле слова и многое мог вместить из обширной эпохи, что тоже впоследствии отразилось в «Чевенгуре», где среди прочего изображен драматический переход от Гражданской войны к миру. Он каждую из своих книг прожил, кровью сердца и пботом рабочего тела оплатил, только вот нормализованная большевиками эпоха плохо вмещала его в себя, отталкивая от центра на периферию, превращая в своеобразного коммунистического маргинала и подготавливая почву для будущих конфликтов.

Разумеется, нельзя сказать, что начиная с 1922 года Платонов полностью сменил риторику и отказался от революционных идей, как было бы неверно утверждать, что, встав на путь практического земледелия, он полностью отказался от литературы, дела праздного и ненужного. Из заполненной им в 1926 году анкеты известно, что в 1922 — 1923 годах Платонов заведовал научно-техническим и крестьянским отделом в «Воронежской коммуне» и «Нашей газете». Год 1922-й оказался для него тем счастливее, что летом в южном городе Краснодаре, куда перевели служить Литвина-Молотова, при беспримерном содействии платоновского литературного опекуна («У меня не было ни клочка бумаги, ни копейки денег… я „высосал” бумагу для издания стихов не скоро (а ведь нужно было бумагу хорошую, а не газетную, чтобы издать получше)…» — писал Литвин-Молотов Платонову в июне 1922 года), с полнейшим уважением к воле молодого автора («Ни одного стиха я не выбросил. Не изменил ни одного слова…») вышла тиражом в 800 экземпляров книга платоновских стихов «Голубая глубина». Она состояла из трех разделов, первый из которых включал в себя немногочисленные стихи революционные, а второй и третий — «тихую» лирику, и — что очень ценно и для жизнеописания Платонова важно — в этой книге была помещена автобиография, специально автором по просьбе издателя написанная, а также «Ответ редакции „Трудовой армии” по поводу моего рассказа „Чульдик и Епишка”», который (ответ) здесь был, в общем-то, ни к селу ни к городу, но понятно, зачем Литвин-Молотов его поместил — чтобы усилить пролетарскую, городскую составляющую сборника, в котором явно ощущался перекос в сторону деревни, в этом смысле текст был как раз к городу, а не к селу.

«Платонов — плоть от плоти и кровь от крови не только своего слесаря-отца, но и вообще русского рабочего, — писал Литвин-Молотов во вступительной статье к „Голубой глубине”. — У него — как и у этого молодого гиганта, познавшего коллектив, машину, производство, но еще не порвавшего с деревней, не освободившегося от „тяги к земле”, — два перепева: фабричного гудка, потной работы, мускульной отваги, коллективного творчества, мощи Нового Города, с одной стороны, и поля, степи, голубой глубины, ржаных колосьев, „Мани с Усмани” и большой дороги со странником Фомой — с другой. Эти два главных мотива резко разграничивают поэзию Платонова.

Двойственность эта в нем, как и в русском рабочем вообще, не случайная, а историческая: Новый Город, фабрика еще не всецело завладели им, и тоска по деревне, от которой давным-давно были оторваны его предки, — эта тоска отцовская, наследственная».

Нетрудно увидеть в этих словах полемику с платоновской идеей родимого пятна, всеобщей связи сущностей и явлений, которая проходит через всю «Голубую глубину» («Между лопухом, побирушкой, полевой песней и электричеством, паровозом и гудком, содрогающим землю, — есть связь, родство, на тех и других одно родимое пятно. Какое — не знаю до сих пор…») и которую Платонов воплотил в собственной жизни, когда, горожанин, рабочий, он осознанно посвятил несколько лет жизни деревне, — главное, книга вышла, поступила в продажу и дошла до родного города автора, спровоцировав отклик в «Воронежской коммуне»: «Нашему отделению Госиздата не следовало бы зевать. Поистине: не славен пророк в своем отечестве».

А пророк, у которого вместе с выходом книги случилось еще одно событие — в сентябре родился сын, работал мелиоратором и продолжал писать. Но теперь больше прозу, чем стихи. В 1922 году были опубликованы рассказы «Сатана мысли», «Приключения Баклажанова», «Данилок» и, наконец, 7 ноября — в день, когда крестили полуторамесячного Тошу Платонова, — рассказ «Потомки солнца», частично перекликающийся с идеями и образами «Жажды нищего», — далекое посткоммунистическое будущее, победа над любовью, ибо «любовь ведет к падению, и сознание при любви мутится и становится пахнущей жижей», победа над вселенной, когда люди сначала превращают «липкую и страстную, чувственную, обваливающуюся» Землю в обитель поющих машин, а потом и вовсе покидают ее для того, чтобы жить на других звездах. Но было здесь и одно благоприятное отличие от новогодней утопии 1921 года: теперь женщины не уничтожались, а, напротив, освобождались и уравнивались с мужчинами и даже их превосходили («У меня есть жена, была жена. Она строже и суровее мужчины, ничего в ней нет от так называвшейся женщины — мягкого, бесформенного существа»), ибо достигнуто целомудрие, выражавшееся в том, что мужское семя отныне делало не детей, а мозг. Как это происходило практически, правда, пока было не вполне понятно (понятно станет в «Антисексусе»), но суть не в деталях, а в идее. А идея заключалась не только в будущем. Фантастика в конечном итоге пишется не для того, чтоб угадать, сольется человечество в один сверкающий металлокусок иль не сольется, фантастика — попытка взглянуть на настоящее как на прошлое, увидеть его с высоты условно прошедших веков и тем самым лучше понять. Платонов эту цель преследовал наверняка, вложив в уста человека будущего следующую сентенцию: «Все-таки мне смешно глядеть на прошлые века: как они были сердечны, сентиментальны, литературны и невежественны… Люди любили, потели, размножались, и каждый десятый из них был поэт. У нас теперь — ни одного поэта, ни одного любовника и ни одного непонимающего — в этом величие нашей эпохи».

Тут немалая порция иронии и самоиронии и, очевидно, — подразумевающийся конкретный адресат. Автор обращался не просто к читателям «Воронежской коммуны» и уж тем более не к товарищам потомкам, он не был также и тем одиночкой, человеком из литературного подполья, кому совершенно не важно, как будет встречено и оценено им написанное. Его жизнь проходила, а его произведения создавались в определенном окружении, в обществе, в литературной среде, и можно предположить, что, пиша, он имел в виду в том числе и своих ближайших друзей — молодых, жизнерадостных, охочих до обычных земных удовольствий поэтов, журналистов, прозаиков, которые не могли не подтрунивать над его чересчур оригинальными и сумасбродными идеями, чего бы те ни касались.

В марте — апреле 1923 года в очень недолго просуществовавшей воронежской газете «Репейник» под псевдонимом Иоганн Пупков была начата публикация рассказа, повести или романа «Немые тайны морских глубин». Героями этого произведения стали два молодых человека Индиан Чепцов и Жорж, совершающие путешествие на моторной лодке из Воронежа в Турцию и попадающие в весьма благолепную страну, на пороге которой их встречает человек, чье «обличье и рост вещали о питании одной мыслью, и спрятанные в черепе глаза как бы говорили: буржуй, сволочь, укороти свои безмерные потребности, жри пищу не для вкуса, но для здоровья, закупорь свои семенные канальчики, не спускай силу зря, гони ее в мозг и в руки».

Образ явно платоновский, не в том смысле, что под этим человеком автор подразумевал самого себя, но здесь были сказаны сниженным языком слова, что на более торжественном наречии недавно произносились в «Культуре пролетариата», «Достоевском», «Невозможном» и пр. И все же это — мысли длинного и сурового человека, похожего скорее на отшельника-обличителя, восходящего к образу Иоанна Крестителя, чем на большевика, и неслучайно уже в следующем абзаце автор перешел на тот семинарский высокопарный кликушеский слог, за который его громили московские рецензенты: «Лодка проплыла мимо, но все стоял сухостоем длинный и суровый человек, как бы предупреждая и грозя и как бы напутствуя: не ходи в сей город, смежи очи от его благолепия: там во дворцах устроены стойла, где сытые самки раскорячились в ожидании твоего оплодотворения, дабы затмить твое святое сознание и опустошить твою борющуюся душу».

А буквально на следующей странице автор обратился к своим героям обычными, доходчивыми словами, и в этом стилевом многообразии, переходах, языковом богатстве сказалась характерная платоновская черта: «Боже мой, люди, давайте жить по-иному и ополчимся на мир и на самих себя. Полюбим женщин жарко и на вечность, но не будем спать с ними, а будем биться вместе с ними с ревущей катастрофой, именуемой миром.

Жоржик и ты, Чепцов Индиан, вы же странники и воители, вы шахтеры вселенной, а не то, что вы есть. Жорж, брось пожирать колбасу и масло, перейди на кашу, ты же лучший из многих, дорогой друг мой…»

Фамилия Жоржа, платоновского незадачливого соперника в делах сердечных, а затем и кума — это он стал крестным отцом маленького Платоши в пятую годовщину великого Октября, — фамилия его была Малюченко, и вот вопрос, хохотал или был обижен рыжий Жорж, вечно влюбленный знаменитый фокусник и престидижитатор, читая помимо дружеского обращения и такой фрагмент платоновского текста:

«Наконец Жорж и Чепцов узрели самую культуру страны: афишу, в коей было обозначено, что гражданин Мамученко прочтет доклад о браке, совокуплении и любви… Народу привалило тыщи великие. За самое чувствительное место ухватил Мамученко людей — за их яичники».

Не меньше иронии было и в «Рассказе о многих интересных вещах», написанном в соавторстве с Михаилом Бахметьевым, хотя, по всей вероятности, вклад последнего в это произведение был не столь значительным — слишком много здесь чисто платоновских образов, мотивов, сюжетных поворотов и ходов. Снова возникают подступы к «Чевенгуру»: странничество, утопический город, новая большевицкая нация, в которую собирается босота, мысли о новом человечестве, образ Каспийской Невесты, которая не вовремя родилась, и автор вместе с главным героем, предводителем новой нации Иваном Копчиковым, выбрасывает ее из повествования примерно с той же жалостью и решительностью, с какой бросал за борт челна заморскую княжну народный предводитель иных времен («Прощай, Каспийская Невеста!.. Не вовремя ты родилась»), снова все неустроенно, хаотично, и герои стремятся этот хаос одолеть и устроить новую жизнь, и снова вещь не закончена — Платонову как будто было не до литературы. Или что-то в ней глубоко не устраивало. В ней ли самой, в его ли литературном окружении, но очевидно, что за истекшие год-полтора, которые отдалили его от воронежской литературной среды, он переменил свое к ней отношение.

В июне 1923 года, получив приглашение от Георгия Малюченко принять участие в новом журнале, он ответил публично с категоричностью, на первый взгляд превосходящей необходимую степень личной обороны: «В Воронеже некоторые из бывших моих товарищей (Цейдлер и Малюченко) собираются издавать журнал, куда я зачислен без моего ведома ответственным работником. Мне сейчас такими пустяками заниматься некогда, и я работать в этом журнале не буду и не собирался».

Он занимался другим, более насущным — мелиорацией, но дело было не только в ней. Осенью 1923 года на экземпляре сборника «Голубая глубина», который Платонов подарил В. А. Келлеру, автором была сделана следующая надпись: «Я думаю всегда об одном и том же. Вы тоже об одном думаете и одним живете. Нас сблизило и сроднило лучше и выше любви общее нам чувство: ощущение жизни как опасности, тревоги, катастрофы и страсти разметать ее как таковую.

Человек призван закончить мир, найти место всему и дойти и довести с собою все, что видимо и что скрыто, не до блаженства, а до чего-то, что я предвижу и не могу высказать.

Я клянусь вам, что буду делать это дело, как бы велико, темно и безнадежно оно ни было.

Я никому этого не говорил и не скажу. Вам говорю, потому что вы были мне другом ближе, чем для вас друзья во плоти».

Эти слова многое объясняют в позиции Платонова. В то время как жизнь после потрясений революции, Гражданской войны и катастрофического голода начала мало-помалу возвращаться к своему обыденному течению и большинство людей, Платонова окружавших, к новому положению дел приспособились, вкушая колбасу и масло, сам он, в отличие от современников, не был обманут, введен в соблазн видимым успокоением житейского моря, и ощущение жизни как тревоги, как не пустяка, жизни как катастрофы или постоянного ее предчувствия его не покидало. Платоновский мир вообще чреват катаклизмами. Если проводить параллели с физическими приборами, то Платонов был сейсмографом (другие писатели — термометрами, барометрами, тахометрами, спидометрами, флюгерами).

Он был зорче и проницательней многих из своих собратьев, он по-прежнему требовал от себя и от других сверхусилий и настаивал на том, что будет стремиться исполнить предназначенное человеку. В этом последовательном эсхатологизме Платонова, в его устремленности к концу воплотился многовековой русский религиозный опыт, но через пять-шесть лет после свершения революции у «шахтера вселенной» почти не осталось единомышленников. С революцией и революционерами случилось то, о чем насмешливо писал в те годы в дневнике Пришвин: «Балерины, актрисы и машинистки разложили революцию. Революционерам-большевикам, как женщинам бальзаковского возраста, вдруг жить захотелось! И все очень понятно и простительно, только смешно, когда сравнишь, чего хотел большевик и чем удовлетворился». Да и Платонов недаром еще в фельетоне «Душа человека — неприличное животное», написанном летом 1921 года, то есть в самом начале нэпа, обозначил новый тип «официального революционера, бритого и даже слегка напудренного. Так, чуть-чуть, чтобы нос не блестел». Только смешное и простительное в глазах Пришвина было совсем не смешным в сердце его серьезного собрата, и именно отсюда брало начало то великое одиночество, которое стало литературным окружением Андрея Платонова. А сам он констатировал несколько лет спустя в письме к жене: «Мои идеалы однообразны и постоянны».

Однако давалось это постоянство нелегко. Достаточно сравнить две фотографии: 1922 года — знаменитый портрет с буйной шевелюрой и с серьезным, сосредоточенным, хотя и несколько печальным взглядом уверенного, можно даже сказать успешливого молодого человека, красавца, поэта, революционера (его подарил Платонов своей юной невесте) и — недатированное, но, вероятно, относящееся к 1925 — 1926 годам фото Платонова-мелиоратора за рулем автомобиля в окружении своих сотрудников. У них обычные, открытые лица, его лицо — особенно по контрасту с другими — поражает своей неземной пронзительностью, остротой, угловатостью. «Я тело износил на горестных дорогах», — очень точно написал он в стихотворении, датированном 1925 годом.

Вместе с тем неприятие современности по причине ее расслабленности, стремления к комфорту, к сытости не означало прекращения диалога с нею. Платонов вглядывался в эпоху, над ней размышлял и следил за тем, что делается в литературе. В 1923 году, бывая в Москве по практическим делам, губернский мелиоратор заходил в литературные объединения столицы, где давно уже был хорошо знаком с редакцией журнала «Кузница» (в марте 1921-го там был напечатан рассказ «Маркун»); во второй половине 1923 года состоялось знакомство Платонова с А. К. Воронским, в ноябре в журнале «Печать и революция» вышла рецензия Брюсова на сборник «Голубая глубина» («А. Платонов пишет старыми ритмами… чувствуется у А. Платонова и явное влияние поэтов, которых он читал, даже прямые подражания им. При всем том у него — богатая фантазия, смелый язык и свой подход к темам. В своей первой книге А. Платонов — настоящий поэт, еще неопытный, еще неумелый, но уже своеобразный»), а в январе 1924 года уже сам Платонов опубликовал в журнале «Октябрь мысли» несколько рецензий на текущую периодику, содержавших резкие по форме и левацкие по существу оценки творчества Алексея Толстого, Николая Никитина, Владислава Ходасевича, Андрея Белого, Виктора Шкловского, и именно отсюда берет начало Платонов — литературный критик.

В середине 1924 года он послал на конкурс в журнал «Красная нива» рассказ «Бучило», и это произведение вошло в десятку лучших в условиях очень жесткой конкуренции (всего поступило свыше тысячи рукописей). «Бучило», таким образом, стал фактически первым из платоновских рассказов, оцененных серьезными литераторами (членами жюри были А. Луна­чарский, Ив. Касаткин, В. Переверзев, В. Правдухин и А. Сера­фимович). Рассказ, объединивший образы и мотивы прежних платоновских вещей, рассказ-житие, в котором судьба главного героя Евдокима Абабуренко, по-уличному Баклажанова, претерпевает поразительные метаморфозы. В детстве крестьянский ребенок, которому с трудом дается грамотность, в молодости — солдат царской армии, в революцию — комиссар, но об этом, казалось бы, ударном эпизоде биографии — вскользь, хотя и очень щемяще, очень лично («Как великое странствие и осуществление сокровенной души в мире осталась у него революция»), а главное в «Бучиле» — судьба человека после революции, его неприкаянность, сиротство, и хотя в тексте говорится о том, что большевик Абабуренко — оратор и мудрец, «измышляющий благо роду человеческому», человек веский и внушительная личность, рассудительно оглядывающая жизнь и находящая одну благовидность, — все это почти не раскрыто и кажется призрачным, а реальность совсем в другом. Ветеран Гражданской живет бобылем, работает сторожем, скучает, ест картошку с сахарином, зарастая по причине водобоязни вшами и научившись выть волком, так что волки сами приходят к его землянке, и однажды умирает. Вот и вся жизнь, вся странная платоновская агиография.

Была революция, не была — не в том суть. А в том, что «жизнь прошла — как ветер прошумел» — и остается одинокий, никому не нужный старик, которого никто не вспомнит, но жалко его автору до слез, и эту любовь он стремится донести до читателя, однако «диким, дуроватым, утробным» человеком в «сумрачном мирке платоновских людей» назовет в 1929 году Бучилу литературная девушка В. Стрельникова и не разглядит платоновского «настоящего бессмертного человека, который остался на земле навсегда».

«Бучило» стал первой литературной победой молодого писателя, но по причудливым законам платоновской судьбы так получилось, что именно с выходом рассказа в «Красной ниве» в конце октября 1924 года Платонов еще резче разошелся с литературной жизнью. В этом не было сознательного жеста, скорее так складывались обстоятельства и не всегда по его воле.

Еще в апреле 1924 года мелиоратор направил по своему обыкновению резкое, напористое письмо в «Кубано-черноморское партийно-кооперативное издательство», из которого следовало, что коммунистам-кооператорам были давно посланы его произведения и предлагалось их издать, однако ответа автор не получил. «…Если они будут напечатаны, то печатайте, но только не несколько лет и берите в отношении меня все обязательства, т. е. платите за работу деньги, потому что я без работы. Если не будете печатать, то пришлите все обратно, и мы останемся друзьями… Считая такое положение оскорблением и недостойным ни себя, ни Из-ва, оставляя в стороне Г. З. Литвина-Молотова, объясняя такое молчание чрезвычайными неизвестными мне обстоятельствами, прошу срочного исчерпывающего ответа на все мои письма, ранее посланные, иначе я обращусь в центральную прессу и суд».

Упоминание безработицы встречается и в более мягком письме к самому Литвину-Молотову, направленном два с половиной месяца спустя: «Несколько раз (в двух, кажется, письмах) я предлагал Вам свой труд, находясь обремененным нуждою и полубезработицей. <…> Я повторяю содержание прежних писем и говорю Вам: не сможете ли Вы предложить мне постоянную службу или литературную работу в издательстве, т. к. меня работать в литературе тянет, а в Воронеже работать мне негде (нет ни одного издательства, кроме газеты) и я работаю сейчас кое-что, а не литературу. Напишите мне — есть ли у вас работа или нет и пр.».

Литературной работы, судя по всему, не было, книги не издавались, и Платонов все глубже уходил в практические дела, как бы тяжко ему ни приходилось и как ни тянуло обратно в литературу. Однако тут не было бы счастья, да несчастье помогло: открывшиеся по распоряжению правительства общественно-мелиоративные работы в пострадавшей от засухи Воронежской губернии и выделенные государством средства («Центр ассигновал на мелиоративные работы 1924/5 гг. 1 118 800 рублей», — сообщал Платонов 12 августа 1924 года в циркуляре, разосланном по уездным земельным отделам) улучшили ситуацию. Фронт работ был открыт, и вот уже 23 августа присланный из Москвы ревизор А. Прозоров докладывал в столицу о «блестящей организационной работе зав. Мелиочастью Платонова», а 10 октября признал, что «общественные работы Воронежской губернии Центром отмечены как лучшие по всему СССР». Что же касается самого товарища Платонова, то, с одной стороны, он призывал подчиненных к социалистическому соревнованию: «На Вас смотрит Правительство страны. Давайте ни за что не допустим позора и бессилия, ни за что не дадим обогнать себя ни одной губернии, а обгоним любую из них. Итак, вперед — к напряжению и работе, к чести, не к позору», а с другой — писал Прозорову об одном из своих подчиненных: «Райгидротехник от тележной тряски, недосыпания, недоедания, вечного напряжения стал ползать, перестал раздеваться вечером и одеваться утром, а также мыться. Говорит, зимой сделаю все сразу. Надо беречь штат. Надо принять реальные меры. Мы платим ведь очень мало, если судить по работе».

В том же 1924 году губернский мелиоратор попытался вернуться на еще одну некогда покинутую им территорию: вновь вступить в РКП(б), и его новое заявление существенно отличалось от написанного тремя с половиной годами ранее. Объяснив причины выхода из РКП(б) в 1921 году, Платонов написал о своей практической работе и попросил рассматривать себя не как «интеллигента, припаянного к письменному столу», а как «теоретически образованного рабочего», хотя и заканчивал с неизбежной, но, быть может, вынужденной патетичностью (в 20-м, понятное дело, никакой вынужденности в пафосе не было): «Еще раз в заключение прошу на меня посмотреть по существу, а не формально, ибо вне Партии я уже жить не могу, вне Партии теряется уже основной смысл жизни и главная к ней привязанность».

На него по существу и посмотрели. Отказали. Не сразу, правда, а два года спустя, но отказали, выдвинув в качестве причины как раз то, что он в себе упорно отрицал, — принадлежность к интеллигенции: «Воздержаться от приема в партию т. Платонова <…> как интеллегент[[1]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftn1" \o ") недостаточно политически подготовлен».

Это решение было принято 4 марта 1926 года, и о причинах неприязни к Платонову в воронежских партийных кругах можно только гадать. Возможно, они были связаны с его чрезмерной активностью и заметностью в губернском масштабе, но поскольку бюро комячейки при Губзо т. Платонова горячо (девять «за», при одном воздержавшемся) поддерживало и он ожидал положительного решения вышестоящих инстанций, то уже считал себя коммунистом. Именно таковым Платонов предстал в письмах и прозе Виктора Шкловского, встретившегося с губернским мелиоратором летом 1925 года, — сюжет, мимо которого пройти невозможно, особенно если учесть, что к той поре двое писателей — сделавший себе имя в литературе 32-летний Шкловский, за спиной у которого была Гражданская война, эмиграция и возвращение в СССР, и 26-летний Платонов с другим, но не менее глубоким жизненным опытом — были заочно знакомы, по крайней мере односторонне.

В январе 1924-го, обозревая журнал «ЛЕФ», Платонов отозвался о писаниях создателя «гамбургского счета» в литературе взыскательно и сурово: «Статья Шкловского в четвертом номере. Зачем она напечатана — непонятно. Что Лефу до техники романа тайн и какое отношение имеет она к производственному искусству — аллах ведает.< …> Почему это — мы накануне оживления романа тайн, и при чем здесь все Белые и других цветов покойнички — Шкловский не объясняет. А без доказательств — такое „положение”весьма… сомнительно. В общем же статья беспартийна… до скуки».

И вот теперь автор и его герой встретились и провели вместе день или несколько, разъезжая на тряской платоновской колымаге по разбитым дорогам Воронежской губернии, о чем прочитала в газете «Правда» вся советская страна. Таким образом, на всероссийский уровень Андрей Платонов впервые вышел не как писатель, но как мелиоратор и водитель то и дело ломающегося транспортного средства: «…за одну поездку по воронежским дорогам с губернским мелиоратором Платоновым автомобиль потерял: одну рессору, один поршень (доехал на трех), несколько камер, и — увы! — это не всем понятно, он потерял компрессию».

Шкловский оказался в Воронеже в качестве корреспондента центральной газеты, путешествующего на агитсамолете «Лицом к деревне».

«Город здесь полуюжный. Нищих как в Москве. А вообще я очень изменился. Мне не хочется смеяться.

Познакомился с очень интересным коммунистом, — писал он жене. — Заведует оводнением края, очень много работает, сам из рабочих и любит Розанова.

Большая умница.

У него жена и сын трех лет».

Примерно такими же по стилю и настроению оказались и фрагменты «Третьей фабрики», с Платоновым связанные.

«Платонов прочищает реки. Товарищ Платонов ездит на мужественном корыте, называемом автомобиль. <…>

Платонов — мелиоратор. Он рабочий лет двадцати шести. Белокур. <…>

Товарищ Платонов очень занят. Пустыня наступает. Вода уходит под землю и течет в подземных больших реках».

Второй фрагмент, героем которого был Платонов, получил название «Дешевые двигатели»:

«Качать воду должен был двигатель.

Но доставали ее из другого колодца пружинным насосом. Пружина вбегала в воду и бежала обратно, а вода за нее цепляется.

Крутили колесо пружины две девки. „При аграрном перенаселении деревни, при воронежском голоде, — сказал мне Платонов, — нет двигателя дешевле деревенской девки. Она не требует амортизации. <…>”

Мы сидели на террасе и ели с мелиораторами очень невкусный ужин.

Говорил Платонов о литературе, о Розанове, о том, что нельзя описывать закат и нельзя писать рассказов».

Говорил или нет Платонов про не требующих амортизации деревенских девок, вопрос спорный, запрещал ли мелиоратор описывать закат и вообще сочинять рассказы — тоже неясно; более вероятно, что он говорил про Розанова, и тема эта Шкловскому, написавшему книгу о Розанове, была близка, а обнаружение коммуниста-мелиоратора, знающего и любящего Василия Васильевича, посреди знойных воронежских степей, где жажда, по смелому выражению автора «Третьей фабрики», страшней сифилиса, — все это не могло не поразить столичного литератора. Но насколько Платонов Шкловскому открылся, делился ли сокровенным, как с Келлером, говорил ли о текущих литературных делах, о скуке беспартийности и разъяснил ли Платонову Виктор Борисович механизм романа тайн, обсуждали ли они вообще платоновскую рецензию в «Октябре мысли», читал ли эту рецензию Шкловский, а если читал, то соотносил ли ее авторство со странным губернским философом и, наконец, что на сей счет думал — все это неизвестно. Сам Шкловский, сколь бы высоко Платонова ни ценил (а в 30-е он, по свидетельству Льва Гумилевского, публично называл своего водителя по чернозему гением), уже после его смерти сказал о Платонове очень немного, и, несмотря на несколько покаянный тон, сказал уклончиво, старательно обходя острые углы личных взаимоотношений и разногласий, особенно проявившихся в платоновских рецензиях конца 1930-х годов.

«С Платоновым я познакомился очень рано. Приехал по журналистской командировке в Воронеж. Встретился с молодым человеком, небольшого роста.

Была засуха, и Платонов хотел дать воду человеку и земле.

Мы говорили о литературе.

Он любил меня, потому что мы были людьми одного дела. <…>

Потом я узнал его как писателя.

Это был писатель, который знал жизнь: он видел женщин, которым были нужны мужчины, мужчин, которым не были нужны женщины; он видел разомкнутый треугольник жизни. <…>

Он верил в революцию. Казалось, что революцией Платонов должен был быть сохранен.

Путь к познанию России — трудный путь. Платонов знал все камни и повороты этого пути.

Мы все виноваты перед ним. Я считаю, что я в огромном долгу перед ним: я ничего о нем не написал.

Не знаю, успею ли».

Слова Шкловского были записаны литературоведом А. Ю. Галушкиным в последний год жизни девяностолетнего писателя, но, кроме того, в статье «К истории личных и творческих взаимоотношений А. П. Платонова и В. Б. Шкловского» исследователь сослался еще на одну беседу со своим информантом.

«На вопрос, не показывал ли Платонов ему свои произведения и какими были их разговоры о литературе, Виктор Борисович ответил: „Нет, не показывал ничего. Мы говорили о Розанове”. И немного спустя добавил: „Мне кажется, ему был нужен другой читатель”». Это позднейшее свидетельство косвенно подтверждается и документами 1925 года. «Стесняется», — фиксирует Шкловский психологическое состояние своего спутника; упоминание о разговорах на литературные темы крайне скупы: «любит Розанова», «Платонов. Розанов».

Эти суждения, особенно в том, что касается другого читателя, в высшей степени проницательны, однако это взгляд Шкловского. А вот что думал о своем более именитом в ту пору собеседнике Платонов, известно, во-первых, по записи, которую он сделал на книге П. А. Миллера «Быт иностранцев в России»: «Эта книга подарена мне высокоуважаемым трагическим маэстро жизни и кинематографии В. Б. Шкловским и притом даром и навеки. Привет изобретателю формализма-бюрократизма литературы! Аллилуйя и аминь. А. Платонов», а также по двум текстам, которые маэстро трудно сказать, читал или нет: это статья «Фабрика литературы» и рассказ «Антисексус».

Если откровенно пародийная при всей своей серьезности и исповедальности «Фабрика литературы» была опубликована уже после смерти Шклов­ского, то «Антисексус» голландский литературовед Томас Лангерак напечатал в 1981-м, и теоретически Шкловский мог прочесть там «свой отзыв».

«Женщины проходят, как прошли крестовые походы. Антисексус нас застает, как неизбежная утренняя заря. Но видно всякому: дело в форме, в стиле автоматической эпохи, а совсем не в существе, которого нет. На свете ведь не хватает одного — существования. Сладостный срам делается государственным обычаем, оставаясь сладостью. Жить можно уже не так тускло, как в презервативе».

Последнее было ответом на «Третью фабрику» с ее знаменитым: «Я живу плохо. Живу тускло, как в презервативе».

Написанный вчерне на рубеже 1925 — 1926 годов «Антисексус» — одна из самых необычных даже для Платонова вещей: монтаж высказываний знаменитых людей в связи с рекламной акцией недорогостоящего, доступного, можно сказать демократичного аппарата, призванного самым элементарным и эффективным образом решить ту проблему, что не давала покоя воронежскому философу с младых ногтей и одновременно с тем служила источником его вдохновения: что делать с основным инстинктом человеческого тела и на какие цели тратить гигантскую энергию, этому инстинкту подчиняющуюся, а также с веществом, которое при том выделяется? Но теперь идеализм и определенный радикализм юности — пустить мужскую силу на великие свершения — уступил место сарказму и иронии.

«Из грубой стихии наша фирма превратила половое чувство в благородный механизм и дала миру нравственное поведение. Мы устранили элемент пола из человеческих отношений и освободили дорогу чистой душевной дружбе.

Учитывая, однако, высокооцененный момент наслаждения, обязательно присущий соприкосновению полов, мы придали нашему аппарату конструкцию, позволяющую этого достигнуть, по крайней мере, в тройной степени против прекраснейшей из женщин, если ее длительно использует только что освобожденный заключенный после 10-ти лет строгой изоляции. Таково наше сравнение — таков эквивалент качества наших патентованных аппаратов».

В этом сочинении одни обороты и детали чего стоят: женщина, которую использует заключенный; план-шайба, регулирующий расход семени; душевная и физиологическая судьба… И плюс к этому разноречивые отзывы великих сынов века на изобретение, призванное переменить жизнь человечества и, вместо того чтобы освободить его от проклятой страсти, еще больше ею поработить: «суждения» Ганди, Форда, Чаплина, Шпенглера, Муссолини, а также отзыв вычеркнутого из основного текста Маяковского и обещанные в будущем размышления рапповских и нерапповских критиков и некритиков: Авербаха, Землячки, Корнелия Зелинского, Гроссмана-Рощина, Бачелиса, Буданцева, Киршона…

«Антисексус» считается своеобразным рубежом в платоновском творчестве, но, возможно, точнее было бы сравнение с железнодорожным тупиком, куда Платонов загнал состав накопившегося у него неразбавленного яда. Действительность, которую воронежский публицист еще в 1921 году объявил контрреволюционной, не только не сдвинулась в сторону просветления и очищения, не только не удержалась на высоте тех лет и не поднялась выше, но стала еще более грязной, отталкивающей и… более прочной. Никакие революции и потрясения ей не грозили. «Антисексус» — сильнейший протест против тотальной человеческой пошлости, против превращения всего на свете в товар: Платонову нужно было выплеснуть накопившуюся у него желчь против обуржуазивания, омертвения всеобщей, в том числе и советской, жизни, ударить молнией в скопившейся духоте, и он это сделал.

Этот рассказ Платонов настойчиво хотел напечатать в первом сборнике своей прозы, даже согласившись на специальное предисловие, на «сливочное масло издательства, — лишь бы прошел сборник», как писал он жене, однако «Антисексус» застрял в архиве на долгие десятилетия. Зато появилось многое другое, но перед этим в судьбе автора снова случились значительные перемены.

Во второй половине февраля 1926 года состоялся Всероссийский съезд мелиораторов, на котором воронежский мастер был избран в состав ЦК Союза сельского хозяйства и лесных работ, — событие, которое подтолк­нуло его переехать в верховный город Москву. С точки зрения карьеры советского служащего он шел на повышение, причем повышение в высшей степени заслуженное, свидетельством чему — поражающий воображение документ, подобный которому не мог бы предъявить ни современникам, ни потомкам ни один из прославлявших труд советских писателей.

«Удостоверение

Дано предъявителю сего Платонову Андрею Платоновичу в том, что он состоял на службе в Воронежском Губземуправлении в должности губернского мелиоратора (с 10 мая 1923 г. по 15 мая 1926), и заведующего работами по электрификации с.х. (с 12 сентября по 15 мая 1926 г.).

За это время под его непосредственным административно-техническим руководством исполнены в Воронежской губернии следующие работы:

построено 763 пруда, из них 22% с каменными и деревянными водосливами и деревянными водоспусками;

построено 315 шахтных колодцев (бетонных, каменных и деревянных);

построено 16 трубчатых колодцев;

осушено 7600 десятин;

орошено (правильным орошением) 30 дес.;

исполнены дорожные работы (мосты, шоссе, дамбы, грунтовые дороги) — и построено 3 сельские электрические силовые установки.

Кроме того, под руководством А. П. Платонова спроектирован и начат постройкой плавучий понтонный экскаватор для механизации регу­ли­ровочно-осушительных работ.

Тов. Платоновым с 1 августа 1924 г. по 1 апреля 1926 г. проведена кампания общественно-мелиоративных работ в строительной и организационной частях, с объемом работ на сумму около 2 миллионов руб. Под непосредственным же его руководством проведена организация 240 мелиоративных товариществ и организационная подготовка работ по мелиорации и сельскому огнестойкому строительству за счет правительственных ассигнаций и банковских ссуд на восстановление с.х. Воронежской губернии.

А. П. Платонов как общественник и организатор проявил себя с лучшей стороны.

Печать: Главное Управление Землеустройства и мелиорации г. Воро­нежа.

С подлинным верно: Секретарь Отдела Мелиорации

*(Н. Бавыкин)».*

Однако сделать карьеру номенклатурного работника, Льва Чумового из будущего рассказа «Усомнившийся Макар» или Козлова из «Котлована», Платонову суждено не было. 18 июля на расширенном пленуме Всесоюзного секретариата секции землеустроителей тов. Платонов был уволен из ЦК и откомандирован на работу в Наркомзем. По какой причине произошел срыв в его советском восхождении — однозначно сказать трудно.

В семейном архиве сохранился черновик неотправленного письма Платонова, где он описывал первые месяцы своей московской жизни: «Прослужил я ровно 4 недели, из них 2 просидел в Центр. Штат. Ком. РКИ, защищая штатные интересы своих интересов. Я только что стал присматриваться к работе своего профсоюза. Я был производственник, привык и любил строить, но меня заинтересовала профессиональная работа. Что я производственник, что я небольшой мастер профсоюзной дипломатии, было хорошо известно ЦК и записано в анкетах. Но меня все-таки сорвали из провинции и поставили на выучку. А через 2 недели фактической работы в ЦК выгнали. А я занимал выборную должность. <…> Я остался в чужой Москве — с семьей и без заработка. На мое место избрали на маленьком пленуме секции совсем другого человека <…> при полном отсутствии мелиораторов. Присутствовал один я! <…> Это называется профсоюзной демократией! <…> Чтобы я не подох с голоду, меня принял НКЗ[[2]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftn2" \o ") на должность инженера-гидротехника. <…> Одновременно началась травля меня и моих домашних агентами ЦК Союза (я по-прежнему жил в ЦД специалистов) <…> называли ворами, нищими, голью перекатной (зная, что я продаю вещи). У меня заболел ребенок.< …> я каждый день носил к китайской стене продавать ценнейшие специальные книги, приобретенные когда-то и без которых я не могу работать. Чтобы прокормить ребенка, я их продал. Меня начали гнать из комнаты. Заведующий Домом слал приказ за приказом, грозил милицией и сознательно не прописывал <…> чтобы иметь право выбросить с милицией в любой час. Я стал подумывать о самоубийстве. Голод и травля зашатали меня окончательно».

Это одна сторона дела. Но есть и другая. В 1975 году Мария Алексан­дровна Платонова писала о причинах служебных неурядиц мужа в его первое московское лето: «По прошествии многих лет нам с Андреем Платоновичем стало ясно, что вызов его на работу в Москву, в Наркомзем, был инспирирован самим Рамзиным с целью удалить с работы Платонова, лишить поддержки его планы и начинания, утвержденные комиссией ГОЭЛРО. Все было рассчитано на то, чтобы сорвать работы в Воронеже. Многие инженеры и профессора, работающие у Платонова или приезжающие для инспектирования его работ, были позднее замешаны в делах Промпартии».

Никаких комментариев к этому заявлению в кратком очерке жизни Платонова, помещенном в первом томе научного издания, нет, как нет в них и ссылок на само свидетельство Марии Александровны, что косвенно говорит о скептическом отношении серьезных авторов к этой версии (О. Г. Ласун­­ский прямо называет ее «наиболее неправдоподобной», а Л. А. Шу­бин относит «на счет распространенной в те годы мифологии повального вредительства»), и каким образом на самом деле сложились обстоятельства, а также действительно ли Платонов видел в своих неудачах сознательное вредительство, насколько доверял он официальной советской пропаганде позднее, когда состоялся процесс Промпартии, — сказать трудно, хотя момент это безусловно важный и нуждающийся в прояснении, тем более что он относится и к последующим политическим процессам в стране.

В 1932 году, выступая с «покаянной речью» во Всероссийском cоюзе советских писателей, Платонов вспоминал: «…я попал в секцию инженеров и техников ЦК профсоюза и начал общественную работу на выборной должности. Там я встретился с людьми, которые меня поразили. Я прибыл из провинции с производства, а тут я встретился с такими удивительными людьми, часть были профессора, часть инженеры. Совершенно непонятно, как их терпели. Я сказал, что работа в таком виде совершенно никчемная, ненужная, сказал руководителям профсоюза. Я был тогда крайне неопытным в таких делах, там свои внутренние деловые интриги, многие специалисты были чуждыми людьми, большинство из них оказалось впоследствии вредителями, но тогда они меня уничтожили до конца, до самого последнего конца, вплоть до улицы; оставили без жилища и без работы».

К сожалению, мы имеем возможность выслушать лишь одну сторону конфликта, и насколько объективен был Платонов в его освещении — вопрос, остающийся без ответа, хотя положение действительно было драматическое и все это больно ударило обремененного семьей Платонова. Но что можно утверждать наверняка, так это то, что сознание вновь избранного члена ЦК было занято не одной мелиорацией либо профсоюзной работой. Оно было поглощено тем платоновским основным инстинктом, который он три года в той или иной степени в себе подавлял, — страстью к литературе, «темной волей к творчеству».

«Теперь благодаря смычке разных гибельных обстоятельств я очутился в Москве и без работы, — писал Платонов Воронскому в июле 1926 года. — Отчасти в этом повинна страсть к размышлению и писательству. И я сную и не знаю, что мне делать, хотя делать что-то умею (я построил 800 плотин и 3 электростанции и еще много работ по осушению, орошению и пр.). Но пишу и думаю я еще по количеству и еще более давно по времени, и это мое основное и телесное. Посылаю Вам 4 стихотворения, 1 статью и 1 небольшой рассказ — все для „Красной нови”. Убедительно прошу это прочитать и напечатать».

Еще несколько лет тому назад заявлявший о том, что он не может заниматься «созерцательным делом — литературой», Платонов брал свои слова обратно и признавал власть мысли над практическими делами в собственной судьбе. Писатель и мелиоратор все эти годы находились в очень сложных взаимоотношениях в его внутреннем человеке — они спорили, помогали, соперничали, противоречили, дополняли, мешали друг другу, ревновали и соревновались, боролись и сотрудничали, враждовали и сотворчествовали (отношения здесь, безусловно, были гораздо более напряженные, чем, например, в полушутливом чеховском «медицина — жена, а литература — любовница», а кроме того, сама судьба Андрея Платонова есть не что иное, как блестящее опровержение не только судьбы Ионыча, но и известной чеховской фразы: «Молодежь не идет в литературу, потому что лучшая ее часть работает на паровозах»), и в конечном итоге писатель победил «машиниста». Но далась эта победа не сразу, не окончательно и большой ценой.

Своеобразным проявлением вражды и дружбы двух начал в человеческой душе стал созданный тогда же, страшным для Платонова летом 1926 года, памфлет «Фабрика литературы» — произведение, с одной стороны, очень ироническое и по своей ядовитости не уступающее «Антисексусу», с другой — заключающее в себе неизменные и сокровенные авторские мысли: «Искренние литераторы отправляются в провинцию, на Урал, в Донбасс, на ирригационные работы в Туркестане, в совхозы сельтрестов, на гидро­­электрические силовые установки, наконец, просто становятся активистами жилтовариществ (для вникания в быт, в ремонт примусов, в антисанитарию квартир и характеров, в склочничество и т. д.). Писатель распахивает душу, — вливайся вещество жизни, полезная теплота эпохи — и превращайся в зодчество литер, в правду новых характеров, в сигналы напора великого класса».

Однако — не превращалось, что-то не получалось, не складывалось, и литература, по Платонову, не поспевала за жизнью. Но не потому, что у пролетарских писателей было мало таланта, а потому, что не было новых методов работы, каковые уже давно использовались в производстве.

«Надо изобретать не только романы, но и методы их изготовки. Писать романы — дело писателей, изобретать новые методы их сочинения, коренным образом облегчающие и улучшающие работу писателя и его продукцию, — дело критиков, это их главная задача, если не единственная. До сих пор критики занимались разглядыванием собственной тени, полагая, что она похожа на человека. Это не то так, не то нет, это подобие критику, а не равенство ему. Критик должен стать строителем „машин”, производящих литературу, на самих же машинах будет трудиться и продуцировать художник».

Какова была в этой «шутке» доля шутки, сказать трудно. Но при чтении «Фабрики литературы» возникает ощущение, что ее автор был совершенно серьезен. Более того, если бы это было написано не Андреем Платоновым, то иные высказывания ввели бы в соблазн заподозрить писавшего не то в вульгарности, не то в эпатаже: «С заднего интимного хода душа автора и душа коллектива должны быть совокуплены, без этого не вообразишь художника».

Платонов либо не чувствовал эстетического риска подобных утверждений (что маловероятно), либо вел себя нарочито вызывающе, стремясь донести в наиболее парадоксальной, провокационной и хулиганской форме — а он несомненно был хулиганом и позднее наделил этими чертами одну из любимейших своих героинь Москву Ивановну Честнову, — так вот тогда, в 1926 году, он проводил главную мысль: литературный труд есть дело общественное, коллективное, и материал для него, иначе называемый полуфабрикатом, должна поставлять художнику окружающая его жизнь. И далее приводил образные примеры и способы литературной работы из собственной практики:

«Я сделал так (меня можно сильно поправить). Купил кожаную тетрадь (для долгой носки). Разбил ее на 7 отделов — „сюжетов” с заголовками: 1) Труд, 2) Любовь, 3) Быт, 4) Личности и характеры, 5) Разговор с самим собой, 6) Нечаянные думы и открытия и 7) Особое и остальное. Я дал самые общие заголовки — только для собственной ориентации. В эту тетрадь я неукоснительно вношу и наклеиваю все меня заинтересовавшее, все, что может послужить полуфабрикатом для литературных работ, как то: вырезки из газет, отдельные фразы оттуда же, вырезки из много- и малочитаемых книг (которыми я особенно интересуюсь: очерки по ирригации Туркестана, колонизация Мурманского края, канатное производство, история Землянского уезда, Воронежской губ. и мн. др.— я покупаю по дешевке этот „отживший” книжный брак), переношу в тетрадь редкие живые диалоги, откуда и какие попало, записываю собственные мысли, темы и очерки, — стараюсь таким ежом кататься в жизни, чтобы к моей выпяченной наблюдательности все прилипало и прикалывалось, а потом я отдираю от себя налипшее — шлак выкидываю, а полуфабрикат — в кожаную тетрадочку.

Тетрадь полнится самым разнообразным и самым живым. Конечно, нужен острый глаз и чуткий вкус, а то насуешь в тетрадь мякину и лебеду вместо насущного хлеба. <…> Взятое из людей и народа я возвращаю им же, обкатав и обмакнув все это в себя самого. Ежели я имею запах — талант, а не вонь — чернильницу, меня будут есть и читать.

Надо писать отныне не словами, выдумывая и копируя живой язык, а прямо кусками самого живого языка („украденного” в тетрадь), монтируя эти куски в произведение.

Эффект получается (должен получиться) колоссальный, потому что со мной работали тысячи людей, вложивших в записанные у меня фразы свои индивидуальные и коллективные оценки миру и внедрившие в уловленные мною факты и речь камни живой Истории.

Теперь не надо корпеть, вспоминать, случайно находить и постоянно терять и растрачиваться, надсаживаясь над сырьем, медленно шествуя через сырье, полуфабрикат к полезному продукту, — нужно суметь отречься, припасть и сосать жизнь. А потом всосанная жизнь сама перемешается с соками твоей душевности и возвратится к людям еще более сочным продуктом, чем изошла от них. Если ты только не бесплодная супесь, а густая влага и раствор солей».

В этих рассуждениях — ключ к тому уникальному платоновскому языку, над разгадкой которого бьется не одно поколение филологов, здесь высказывались мысли очень дорогие, и все-таки заканчивалась «Фабрика литературы» пародийно: «Производство литературных произведений надо ставить по-современному широко, рационально, надежно, с гарантированным качеством.

План такого литературного предприятия мне рисуется в следующем виде.

В центре предприятия стоит редакция (скажем, лит. ежемесячника), коллектив литературных монтеров[[3]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftn3" \o "), собственно писателей, творящих произведения. Во главе редакции („сборочного цеха”, образно говоря) стоит критик или бюро критиков, — бюро улучшений и изобретений методов литературной работы, так же как во главе крупного машиностроительного, скажем, завода стоит сейчас конструкторское бюро.

Это бюро все время изучает процессы труда, копит и систематизирует опыт, изучает эпоху, читателя — и вносит реконструкции, улучшая качество, экономя и упрощая труд. Это — последнее высшее звено литер. предприятия — его сборочный цех. Остальные „цеха” (отделы моей, скажем, кожаной тетради) находятся в стране, в теле жизни, это литкоры (термин не совсем подходящ — ну, ладно); причем труд их должен быть разделен и дифференцирован, чем детальнее, тем лучше. <…>

Гонорар должен делиться примерно так:

50% — писателю, „монтеру”,

5% — критику, „бюро изобр. литер. методов”,

5% — нац-обл-литкору,

40% — литкорам — от каждого произведения, выпущенного данным литер. предприятием. Произведение выпускается под фамилией „монтера” и с маркой литературного предприятия.

Вот, скажут, развел иерархию и бюрократию. Это не верно, — это не иерархия, а разделение труда, это не бюрократия, а живая творческая добровольная организация сборщиков меда и яда жизни и фабрика переработки этих веществ.

Обиды не должны быть: материально в успехе заинтересованы все сотрудники литер. предприятия, а морально — каждый литкор может стать литмонтером при желании, способностях и энергии».

Этот манифест Платонов послал в журнал «Октябрь» с резолюцией: «Просьба напечатать эту статью в одном из ближайших №№-ов журнала. Можно сделать указание на дискуссионность статьи или вообще сделать редакционное примечание к ней». Однако «Октябрь» отказал. Идея управления литературой, ее организации была доведена в платоновском сочинении до той степени абсурда, при котором происходило обесценивание и роли партии, и РАПП, и передовой марксистской идеологии. В общем, неформат.

Но гораздо хуже было другое: ничего не ответил Воронский. Таким образом, уйти в литературу не удавалось, если не считать опубликованного в двенадцатом номере журнала «Всемирный следопыт» рассказа «Лунная бомба» с подзаголовком «научно-фантастический рассказ инж. А. Пла­тонова» (авторское название было «Лунные изыскания», но в редакции сочли, что бомба будет круче) — истории талантливого ученого Петера Крейцкопфа, в жизни которого происходит множество приключений, злоключений и превращений, и среди прочего встречается ничем, казалось бы, не мотивированная смерть ребенка. Крейцкопф случайно сбивает его на дороге, хоронит в яме у межевого столба и клянется за него отомстить, и так снова обнажается уязвимость, беззащитность и подлинное горе человеческой жизни, заставляющее Крейцкопфа забыть о прочих бедствиях.

«Лунную бомбу» Платонов планировал включить в сборник прозы, предназначенный для издательства «Земля и фабрика». Одновременно с этим он подготовил другую книгу для «Кузницы», но шансов на успех у обеих было немного. Больше перспектив обещал договор с издательством «Молодая гвардия», которое по счастливому стечению обстоятельств возглавил в мае 1925 года Литвин-Молотов. Однако скоро сказка сказывалась, да не скоро дело делалось, с «Молодой гвардией» все тоже затягивалось, Платонов называл в письмах к жене своего благодетеля «невыносимым канительщиком», «страшным волокитчиком» и «ужасным волынщиком», который «любит обещать горы золота умирающим людям… все хочет выпустить меня в свет обряженным красавцем, но я подохну, пока он меня управится одеть». И хотя у автора тех горьких строк было множество творческих замыслов и он фактически стоял на пороге прорыва (посланное Воронскому было лишь малой частью), в конце ноября — начале декабря 1926 года, передав доверенность на ведение своих издательских дел Марии Александровне и впоследствии подробно наставляя ее, как надо себя с издателями вести («Заключила ли ты договора с „Молодой гвардией”? Ответь на это. На сколько денег, на каких условиях? Как вышло у тебя с Поповым?[[4]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftn4" \o ") С Поповым говори обязательно дерзко»), Платонов был вынужден один, без семьи, оставив жену с сыном в Москве и получив письменные гарантии того, что они не будут в одночасье выброшены на улицу, выехать в Тамбовскую губернию для того, чтобы занять ту же должность, которую он занимал в Воронеже, — губернского мелиоратора.

Последней попыткой избежать Тамбова было намерение уехать всей семьей в Ленинград. В Пушкинском доме сохранилось письмо к Платонову некоего Бориса Зыкова: «Пишу тебе, Платоныч, пока варится на примусе гречневая каша, сварится — поставлю точку. Прежде всего о небольшом поручении Марии Александровны. За ту сумму, которую мне назвала Мария Александровна, иметь теперь комнату + отопление + освещение + стол — нельзя. Все это будет стоить, конечно, дороже. На двух больших людей и одного маленького человека нужно не менее 175 — 200 рублей. И сейчас найти все эти удобства вкупе — трудновато».

Делать было нечего. Однако еще до отъезда из Москвы Платоныча одолевали дурные предчувствия. «Не исключена возможность того, что я там не сработаюсь, несмотря на гарантированную мне поддержку НКЗема и одобрение предложенного мною способа постановки мелиоративного дела в Тамбовской губернии, — признавал он в одном из писем. — Путешествовать же по стране с семьей я не имею ни желания, ни средств, ни права нарушать жизнь своих близких. Однажды ошибившись (не по своей, правда, вине), я на вторую подобную ошибку идти не могу».

Действительность оправдала эти предчувствия сполна, и если в Воро­неже мелиоративная деятельность Платонова продолжалась четыре с лишним года, то в Тамбове — чуть больше трех месяцев и со значительно меньшим успехом. Причиной тому были обстоятельства, о которых он по­­дробно и откровенно информировал в письмах жену: «Обстановка для работ кошмарная. Склоки и интриги страшные. Я увидел совершенно неслыханные вещи. <…> Мелиоративный штат распущен, есть форменные кретины и доносчики. Хорошие специалисты беспомощны и задерганы. От меня ждут чудес.< …> Возможно, что меня слопают и выгонят из Тамбова. <…> Меня ненавидят все, даже старшие инженеры… Ожидаю или доноса на себя, или кирпича на улице». Но все же дело было не только в препятствиях, мещанстве и косности, не в том, что Платонова обыватели, как он писал, «принимают за большевика и чего-то боятся», не в том, что трудно было по этой причине найти квартиру в «обывательском городе», полном «божьих старушек», и даже не в том, что он оставил многих своих подчиненных «без работы и, вероятно, без куска хлеба» и его «долго будут помнить, как зверя и жестокого человека», а в том, что к той поре как мелиоратор он себя, похоже, исчерпал и был внутренне готов к демобилизации.

Андрей Платонов приехал в Тамбов не один. Он приехал туда сопровождаемый, конвоируемый долго молчавшей и терпевшей его инженерные измены Музой, которой посторонние, беспорядочные связи и сумасбродные проекты ее подопечного (так, в глазах строгой Музы основная идея «Фабрики литературы» была по сути не чем иным, как призывом к свальному греху) вконец надоели; приехал переполненный, отягощенный замыслами, вследствие чего удельный вес литературы в его личной жизни не просто становился все больше, а катастрофически вытеснял прочие интересы. Возможно, потому, что не ладилось на работе, Платонов находил отдохновение — хотя слово это плохо к нему подходит — в литературе, а может быть, пришло иное время и литература теперь отнимала больше сил, в любом случае произошла не просто перемена слагаемых — изменилась иерархия ценностей и приоритетов: если Платонов последних лет воронежского периода — более мелиоратор, чем писатель, то Платонов тамбовского периода — писатель прежде всего.

Не так давно было впервые опубликовано письмо Андрея Платоновича к жене от декабря 1926 года, и по нему очень хорошо чувствуется, как трудно было разлученному с семьей автору в Тамбове и как много обид накопилось в его сердце на «Москву проклятую» и ее жителей, в том числе и тех, кто считался его друзьями.

«Когда мне стало дурно, я без слова уехал, чтобы давать семье хлеб. А когда мне станет лучше, тогда, быть может, я не оценю ничьих дружеских отношений. Все эти Молотовы, даже Божко и все другие позволяют мне быть знакомыми с ними потому, что „боятся” во мне способного человека, который, возможно, что-нибудь выкинет однажды и тогда припомнит им! Никто меня не ценит, как человека, безотносительно к мозговым качествам. Когда я падаю, все сожалеют, улыбаясь.

Ты скажешь — я зол! Конечно, милая, зол. Кто же мне примером обучал доброму. Что я вижу? Одиночество (абсолютное сейчас), зверскую работу (6-й день идет совещание, от которого у меня лихорадка), нужду и твои, прости, странные письма (служба у Волкова, Келлер и др.). Пусть любая гадина побудет в моей шкуре — тогда иное запоет. Пусть я только оправлюсь, и тогда никому не прощу! Каждый живет в свое удовольствие, почему же я живу в свое несчастие! Ведь я здоров, работаю, как бык, могу организовать сложнейшие предприятия и проч.

Еще раз — прости за это письмо, но меня доконала судьба.< …> Единственная надежда у меня — создать что-нибудь крупное (литература, техника, философия — все равно из какой области), чтобы ко мне в Тамбов приехали мои „друзья” и предложили помощь».

Друзья не приехали и помощи не предложили. Но не будь в его жизни литературы, Музы, не будь тех драгоценных ночных часов, когда в холодной комнате он писал и боялся закончить, остаться один, без своей волшебной, но так остро ощущаемой им подруги и верил в то, что она его не покинет («Пока во мне сердце, мозг и темная воля творчества — „муза” мне не изменит. С ней мы действительно — одно. Она — это мой пол в моей душе»), он бы сгинул, пропал.

«В час ночи под Новый год я кончил „Эфирный тракт”, а потом заплакал. <…> Полтораста страниц насиловал я свою музу в „Эфирном тракте”.< …> Я такую пропасть пишу, что у меня сейчас трясется рука… Каждый день я долго сижу и работаю, чтобы сразу свалиться и уснуть… Моя жизнь застыла, я только думаю, курю и пишу…»

В Воронеже такого застывания не было, и руки тряслись от другой работы. Но главное из платоновских эпистолярных признаний той поры носило характер мистический, сравнимый с арзамасским ужасом Льва Толстого, хотя и несколько иной природы: «Два дня назад я пережил большой ужас. Проснувшись ночью (у меня неудобная жесткая кровать) — ночь слабо светилась поздней луной, — я увидел за столом у печки, где обычно сижу я, самого себя. Это не ужас, Маша, а нечто более серьезное. Лежа в постели, я увидел, как за столом сидел тоже я и, полуулыбаясь, тоже писал. Причем то я, которое писало, ни разу не подняло головы и я не увидел у него своих слез[[5]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftn5" \o "). Когда я хотел вскочить или крикнуть, то ничего во мне не послушалось. Я перевел глаза в окно, но увидел там обычное смутное ночное небо. Глянув на прежнее место, себя я там не заметил. В первый раз я посмотрел на себя живого — с неясной и двусмысленной улыбкой, в бесцветном ночном сумраке[[6]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftn6" \o "). До сих пор я не могу отделаться от этого видения, и жуткое предчувствие не оставляет меня. Есть много поразительного на свете. Но это — больше всякого чуда», — чуда, добавим мы, после которого не быть писателем он уже не мог. «Мне кажется, что с той ночи, когда я увидел себя, что-то должно измениться. Главное — это не сон…»

**В ОГНЕ ДРАМЫ**

Платонов был с действующей армией до тех пор, пока она не перешла исторических границ России. Летом 1944 года получив звание майора, он был вынужден спецкоровскую службу оставить (демобилизовали его в конце 1945-го) по болезни, и последние фронтовые публикации в «Красной звезде» относятся к освобождению Могилева. Бывал ли он после этого на фронте, сказать трудно, но если и бывал, то очень недолго. Его письма той поры неизвестны, а в «Записных книжках», в журналистике и в прозе завершающий период войны практически не отразился, за исключением разве что несколько умозрительных рассказов «Штурм лабиринта» и «Один бой».

«Дорогой Андрей Платонович!

Прибыл к нам тов. Гроссман и сообщил мне печальную весть о Вас, — писал Платонову 31 августа 1944 года его фронтовой знакомый Понейко. — От него я узнал, что Вы долго болели брюшным тифом и что в настоящее время Вы еще не вполне выздоровели. <…> Меня очень возмущает и то, что, как сообщил тов. Гросcман, начальство Вашего органа даже не поинтересовалось Вашим состоянием. <…> Наше начальство, я скажу смело, больше думает о себе, о лимитных карточках и литерах для себя, чем о людях, о подчиненных. Этого не должно быть, но есть. Любят нас только до тех пор, пока мы тянем воз, а когда выбываем из строя, нас очень быстро забывают».

Но тифом дело не ограничилось.

«Я уехал с 1-го Украинского в конце сорок четвертого, а Андрей — в конце лета: что-то со здоровьем было, — рассказывал М. М. Зотов. — Только тогда я узнал, что туберкулез у него. Когда прощались, полез я целоваться, а он говорит: „Не надо, Миш...”»

Похожая сцена описана и в мемуарах Ф. Левина, который вспоминал, как его жена отправилась вскоре после войны в туберкулезный диспансер, чтобы сделать рентегеновский снимок дочери. «Внезапно кто-то взял у нее снимок из рук. Она с недоумением подняла голову, перед ней стоял Андрей Платонов. Он внимательно посмотрел пленку, вернул ее и сказал: „Все хорошо, идите отсюда, не надо вам сюда ходить, кругом туберкулезные, мы все заразные”. И стал настойчиво подталкивать жену и девочку к выходу. Сам он в это время уже был болен туберкулезом, заразившись от умиравшего на его руках сына».

«В конце войны его привезли с фронта на носилках, с кавернами в легких, с неизлечимым туберкулезом и сбросили на диван, с которого он все реже вставал, иногда выходил во двор, медленно ходил тут чужим чахоточным мастеровым среди студентов», — писал со слов вдовы Платонова Исаак Крамов.

Он знал, что обречен, а между тем ему надо было жить, и не ради себя, и даже не ради великой русской литературы, но по причине более насущной: 11 октября 1944 года у Андрея Платоновича родилась дочь. Ее назвали Марией — так же, как звали его жену и мать. Это была третья Мария в его жизни. «Рождение второго ребенка тоже измена первому? Как измена любви», — записал он в своем блокноте.

Рождение дочери у немолодых уже мужа и жены во время войны могло показаться со стороны чем-то странным («Это было неожиданным и для нас», — позднее писал Платонов Виктору Бокову), хотя в их ситуации понятным, но трудные, горькие отношения супругов, так много сил у обоих отнявшие и бывшие одновременно источником истощения и вдохновения для Платонова-писателя, частично переменились. «После смерти сына, как ты правильно и хорошо сказала однажды, мы обречены с тобой доживать наши дни под небом меланхолии…» — написал он жене, мечтавший о дочери еще очень давно, и можно предположить, что после того, как не стало Тоши, Мария Александровна наконец захотела родить второго ребенка.

Во время беременности Марии Александровны письма Платонова домой были полны заботы и тревоги: «Я хочу получить от тебя поскорее ответ: как твое состояние, сколько, говоря точнее, ты беременна и как ты себя чувствуешь? <…> Я хочу тебя попросить немедленно продать мой гражданский костюм и башмаки. Только сделать это надо сразу, без всяких сантиментальностей. Я знаю, у тебя нет денег, а тебе нужно хорошо питаться, нужно пить молоко.< …>Как твое положение? Наверное, уж скоро у нас будет сын или дочка. Дочку надо назвать Марией — пусть будет еще одна, но маленькая, Муська. А сына — не знаю как. Тошей — нельзя. Надо выбрать другое имя».

Помимо этого в семье Платоновых жил их внук Александр, сын скончавшегося в январе 1943 года Платона. Андрей Платонович внука очень любил. «Помогай Сашке, сколько можешь, потому что мы очень любим его и я его часто здесь вспоминаю, когда мне бывает тяжело (это бывает часто)… Я скучаю по Сашке… Как растет и существует Сашка?.. — писал он жене. — Я нахожусь далеко. Здесь развалины старинных замков, природа здесь и люди — другие, но я скучаю по тому, что более мне знакомо и привычно, скучаю по тебе и по Сашке. Сашка, наверно, вырос без меня и научился говорить много новых слов. Когда же я вас увижу обоих, а может быть — увижу и того или ту — третью душу?»

Платоновы тогда же хотели усыновить внука, но молодая мать, Тошина вдова Тамара, не согласилась отдать ребенка свекру и свекрови («Андрей Платонович хотел усыновить Сашу, они уговаривали меня, но я отказалась», — рассказывала она позднее), однако пока что его и не забирала, и жить, зарабатывать надо было для двух маленьких детей, хотя сил у Платонова оставалось все меньше.

«Я часто представляю себе, как вы там трудно живете одни, и мне нехорошо, что я здесь избавлен от всех забот, окружен вниманием как больной, хорошо питаюсь, живу на берегу синего моря, — писал он жене в январе 1945 года из военного санатория. — Но в душе у меня непреходящая черная печаль. Дела мои в литературе плохие, будущее мое темно, а от меня зависят маленькие прелестные существа — Кхы и Сашка».

Слова о темном будущем были произнесены не всуе. 18 мая 1945 года осведомитель НКВД доносил о непобедном настроении объекта своего наблюдения: «ПЛАТОНОВ мне сообщил: „Всю войну я провел на фронте, в землянках. Я увидел теперь совсем по-другому свой народ. Русский народ, многострадальный, такой, который цензура у меня всегда вымарывает, вычеркивает и не дает говорить о русском народе. Сейчас мне трудно. У меня туберкулез второй степени, я харкаю кровью. Живу материально очень плохо, а нас 6 человек, работник я один, все малые и старые. Я устал за войну. Меня уже кроют и будут крыть все, что бы я ни написал. Сейчас я пишу большую повесть ‘Иван трудолюбивый‘ — там будет все, и война, и политика. А главное, я как поэму описываю труд человека и что может от этого произойти, когда труд поется, как песня, как любовь. Хочу написать эту повесть, а потом умереть. Конечно, так как я писатель, то писать я буду до последнего вздоха и при любых условиях, на кочке, на чердаке, — где хотите, но я очень устал и дома условия невозможные для работы с рождением ребенка. Мне всячески вставляют палки в колеса, дома есть нечего, я ведь не корифей и лимит у меня только 300 р. Желание работать сейчас огромное. Мне кажется, я так бы и сидел, не отрываясь”».

Это последнее из представленных на сегодняшний день архивом ФСБ агентурных донесений говорит само за себя, и дело было не только в болезни и нужде, хотя, безусловно, эти обстоятельства играли свою роль, но и в общем духовном состоянии страны-победительницы. В оценке этого состояния Платонов в который раз шел вразрез с официозом, и вряд ли наблюдение за писателем прекратилось и иссяк поток доносов, но по каким-то причинам информация с Лубянки обрывается на весне 1945 года, а между тем Платонова ждали новые испытания и новая травля, связанная с рассказом «Возвращение», который под названием «Семья Иванова» был опубликован в «Новом мире» в 1946 году.

Замысел одной из самых известных платоновских новелл возник давно и относился к его вынужденному уфимскому сидению сиротской зимой 1941 — 1942 года, когда в «Записных книжках» появились строки: «Вот положение: она боевая сестра милосердия на фронте, муж ее в тылу, освобожден от фронта; она в тылу, муж ее на фронте; и эта пара сходится „временно” — на время войны; затем возвращается с фронта сестра милосердия (жена тыл<ового> мужа), командир (муж тыл<овой>жены) — и — жизнь мучительно выправляется (?)».

И хотя сюжет «Возвращения» построен без этого «любовного четырех­угольника», идея мучительного выправления жизни после войны стала для Платонова основной, едва только война началась. Он размышлял над нею в прозе военного времени, но там она вынужденно терялась среди человеческих борений и потерь, как в рассказе «Смерти нет!», герой которого мечтает «жить своим семейством среди народа» — вот авторский идеал, едва ли в войну достижимый, но после войны оказалось, что психологический переход в состояние мира мучителен и непрост. Эта тема присутствовала в произведениях Платонова и прежде: что, как не возвращение с войны, есть «Бучило», «Сокровенный человек», «Чевенгур», «Технический роман» или «Река Потудань»? Однако человек, вернувшийся домой с Отечественной войны, описан Платоновым иначе, нежели тот, кто воевал в Гражданскую. И дело не столько в различии двух войн, сколько в углубленном авторском интересе к человеческой психологии и в иной расстановке акцентов.

«Я продам душу, я отдам тело, но дождусь тебя живой, а не мертвой, чтобы любить тебя, тело, душу. Для сохранения себя — она изменяет — для сохранения любви к мужу: у нее душа *<нрзб>* бездушная уцелела бы»*.*

Эти, к сожалению не до конца поддавшиеся расшифровке, записи из блокнота относятся к сюжету «Возвращения», в котором Платонов воскресил и овеществил все то, что было умерщвлено в его произведениях военных лет, упрощено и облегчено, как, например, в написанной в конце 1944 года пьесе «Волшебное существо», герои которой со сказочной легкостью выходят из трудных жизненных ситуаций, порожденных войной, или же было Платоновым сознательно и художественно точно обойдено в опубликованном в июле 1945 года в «Новом мире» рассказе «Никита». Все события в «Никите» передаются через восприятие пятилетнего ребенка (малый возраст принципиально важен: старше нельзя, старше — уже приближение к рассудительности Петрушки, Петра Алексеевича Иванова из «Возвращения»), а драматизм отношений между взрослыми остался за кадром. Написанное следом «Возвращение» стало антитезой изображения «бесконфликтности» человеческих отношений на фоне войны и развитием тех мотивов, что были прежде автором сокрыты.

«Возвращение» — не просто рассказ о любви и семье, о супружеской верности и измене, о разрыве и воссоединении хрупких человеческих связей, об отцах и детях нового времени. В своем первом послевоенном рассказе Платонов сделал следующий после «Фро» и «Реки Потудани» шаг в сторону осмысления самой сокровенной для него с юных лет тайны преображения человеческого естества, его просветления и одухотворения.

Наряду с рассказом был написан сценарий под тем же названием «Семья Иванова», и сохранилась авторская заявка, ценная тем, что в ней Платонов объяснил первоначальный замысел: «Это история одной советской семьи, которая, будучи потрясена войной, доведенная роковыми обстоятельствами до катастрофы, переживает катастрофу и обновляется в огне драмы, — обновляется таким образом, что ее послевоенное положение является более прочным, возвышенным и духовно счастливым, чем до войны. То, что в молодости супругов было лишь чувственным, теперь стало чувством. Закаленные сердца людей теперь обрели способность регулировать свои страсти на свое благо, тогда как прежде их лишь увлекали стихии страсти — иногда на радость, но чаще на муку и на погибель. Характеры же наших героев, воспитанные в подвигах войны и труда, ныне способны стали владеть любовью, не угашая ее и не подвергаясь ее разрушительной силе. В этом моральная новость послевоенного советского мира».

И далее, изложив сюжет, который частично с рассказом совпадает (в сценарий добавлен коллектив тружеников электростанции, участвующий в перевоспитании главного героя), автор подытожил: «И снова рождается страстная любовь между супругами <…> уже не прежняя; она имеет теперь совсем другое конкретное воплощение. Это не ревнивая влюбленность юности, а чистый свет двух мужественных и нежных сердец, разлучить которые уже бессильна судьба, разрушительная сила обстоятельств. Идея пьесы ясна. Она заключается в изображении того, каким путем можно преодолеть одно из самых опасных последствий войны — разрушение семьи, где найти нравственную силу, которая сможет противостоять губительным страстям людей, и где находятся источники их истинной любви, любви, так сказать, второго поцелуя, которым люди обмениваются в знак верности и взаимного чувства на всю жизнь».

Сразу стоит оговориться — эта несколько навязчивая дидактика в рассказе «Возвращение» отсутствует, как отсутствует в ней и мелодраматический мотив «второго поцелуя», и никакие моральные новости советской страны не нарушают, не замутняют житейской истории о гвардии капитане (в первоначальной публикации гвардии сержанте) Алексее Алексеевиче Иванове, который не может вернуться домой с войны: сначала уехать из части, где его дважды провожают с танцами и вином, клянясь в вечной дружбе, сослуживцы, а потом доехать до родного города, предварительно расставшись с волей и с пространной девушкой Машей, его почти случайной попутчицей и недолгой любовницей, которую он клянется не забыть.

По контрасту с военной прозой «Возвращение» поражает отсутствием описания батальной стороны дела, сохранившегося в сценарии, где есть и война, и отступление до Волги, и наступление Советской армии в Европу, и образы союзников, и европейская девушка Габриэль, зарабатывающая на жизнь проституцией с согласия своего бель ами. В рассказе ничего подобного нет. Платонов избегает не просто легкого и проторенного, но логичного и, казалось бы, единственно возможного пути изображения советского воина как мужественного человека, героя, не говорит ничего о его подвигах, доблестях и славе (если не считать сыновьего разочарования от скудости отцовских наград: «А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету», и так же скупо, с одной-единственной медалью вернулся домой старый солдат в «Никите»), и в этой принципиальной дегероизации, в резком снижении пафоса сказалось мучившее писателя и занесенное в «Записные книжки» опасение: «Затанцуют, затопчут память о войне».

Платонов этих бесконечных танцев как в переносном, так и в прямом смысле не хотел. Он, наверное единственный из писателей своего времени, воспринял победу не только как триумф и торжество народа, но и как новое, посланное ему испытание. «Мы победили всех животных, но все животные вошли в нас, и в душе у нас живут гады», — осталась запись во фронтовом блокноте. Война не только возвысила людей, она одновременно их душевно покалечила, поделив огромный народ на тех, кто воевал на фронте, и тех, кто сражался в тылу, дав каждой из сторон свой опыт жизни, коснувшийся каждой семьи, и, помимо видимого присутствия смерти в жизни одних и кажущейся удаленности от нее других, это различие сказалось в горьких словах не по годам взрослого мальчика Петрушки в ответ на недовольство отца, что его сын «рассуждает как дед, а читать небось забыл», говорящего: «Пускай я дед, тебе было хорошо на готовых харчах».

То, что война для Петрушки — это прежде всего готовые харчи («Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят»), означает меру правды в детском сознании, для Платонова с его давним вниманием к теме голода особенно страшную и непоправимую. Но эта же пропасть разделяет мужчину и женщину, которая от невыносимой тоски изменила мужу с другим человеком и «ничего не узнала от него, никакой радости». Пожалуй, никогда у автора не было такого понимания женщины, ее психологии, естества, снисхождения к ней и одновременно возвеличивания ее, как в словах покаяния Любови Васильевны перед мужем: «…мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой и с тобой отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей... Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет! <…> Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла... Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей не пожалею!..»

Сытый голодного не разумеет, человек войны не может понять человека тыла («Что ты понимаешь в нашей жизни? — Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя»), взрослые не разумеют детей (« — Да ты еще не понимаешь ничего! — рассерчал отец. — Вот вырос у нас отросток. — Я все дочиста понимаю, — отвечал Петрушка с печки. — Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие…»), мужчины — женщин («Правда говорят, баб много, а жены одной нету»[[7]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftn7" \o ")), и об этой разделенности, о разобщении народа в войну и после нее Платонов и написал в «Возвращении» — произведении, которое можно было бы назвать пацифистским (недаром Платонова обвиняли в «дешевом пацифизме», пусть даже и не за «Семью Иванова»), когда б идеи рассказа не лежали гораздо глубже, отвечая не только на толстовский вопрос «что случилось с народом?», но и касаясь самбой эгоистичной человеческой природы, чье спасение заключено в преодолении индивидуализма.

Петрушкины слова «у нас дело есть, жить надо» прямым текстом выразили платоновское вероисповедание, тем более драгоценное, что автор рассказа считался глашатаем уныния и пессимизма, «певцом смерти», да и сам уже наполовину ей принадлежал, об этом зная, но все равно — жить надо!

В «Возвращении» нет отрицательных героев и не действуют никакие сознательные злые силы. При всей остроте драматургического сюжета, подразумевающего нравственные конфликты между людьми по линии добра и зла, чести и бесчестья, благородства и низости, две незнакомые друг с другом соперницы — юная Маша, которая не решается спросить Иванова, женат он или нет, и Люба, у которой даже мысли нет задать мужу вопрос, был ли ей верен всю войну он, настолько поглощена она своей «виной», а также два «соперника» гвардии майора — эвакуированный Семен Евсеевич и безымянный инструктор, к которому потянулась Любовь Васильевна, потому что «он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно» — все они хорошие, славные люди. А прямым антагонистом себялюбца Иванова, не злодея, не негодяя, но своеобразного человека горы, взошедшего во время войны на вершину собственной гордости и доблести, оказывается его сосед дядя Харитон, который «тоже на войне был и домой вернулся».

Харитон — представитель народного, простосердечного сословия, которое, как только началась война, знало: «Отвоюемся, тогда все по родным дворам разойдемся — кто к матери, кто к жене с ребятишками, а кто один был — тот семейство себе заведет». Слова, которые произносит герой написанной в 1942 году в Уфе пьесы «Без вести пропавший, или Избушка возле фронта», с их ясной, но при этом идеальной, сказочной и неизбежно возвышенной картиной мира (и этим опережающим углом зрения отличаются обе платоновские военные пьесы), подвергаются в «Возвращении» испытанию «низшим», и Харитон выдерживает его с той мерой чести и находчивости, которую ценит в нем автор: «Пойди у него спроси, он все говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают... Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом уморился, не стал Анюту мучить и сказал ей: „Чего у тебя один безрукий был, ты дура-баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя, Нюшка, была, и еще надобавок Магдалинка была”. А сам смеется, и тетя Анюта смеется, потом она сама хвалилась — Харитон еще хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: „Обманул я свою Анюту, никого у меня не было — ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было, и Магдалинки надобавок не было, солдат — сын отечества, ему некогда жить по-дурацки, его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал...”»

История Харитона и его жены, рассказанная маленьким старичком Петрушкой в назидание родителям, — рассказ в рассказе, образец идеальной новеллы, героического анекдота о русском воине, но желаемого эффекта у слушателя, то есть у отца, рассказчик не достигает. Слова Петрушки ложатся мимо цели, хотя и вызывают в душе Иванова нечто похожее на угрызения совести или страх разоблачения: «Вот сукин сын какой! — размышлял отец о сыне. — Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас...»

Заключительные страницы «Возвращения», когда Иванов уезжает из дома, решив начать другую жизнь с дочерью пространщика, волосы которой пахнут природой, и вдруг видит своих детей — редкий даже в русской литературе пример того, как использование запрещенного приема (в финальной сцене с бегущими за поездом мальчиком и девочкой можно увидеть попытку воздействия на, говоря словами Ф. Человекова, неврастенические свойства читателя) не убивает текст, а непостижимым образом возвышает его.

«Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда, в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу, — от этого он и падал так часто.

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем».

Написанный летом 1945 года рассказ «Семья Иванова» предполагался для литературного журнала «Звезда», и здесь редко бывшая благосклонной по отношению к земной судьбе Платонова его личная небесная звездочка на миг не то чтоб улыбнулась, но хотя бы перестала хмуриться, и писатель успел забрать текст из обреченного журнала до известного набега на русскую словесность, случившегося в августе 1946-го.

«Дорогой Андрей! Жалею, что ты взял от нас „Семью Иванова”, — писал редактор „Звезды” В. Саянов. — Мне очень хочется напечатать тебя в „Звезде”, так как тебе хорошо известна моя любовь к тебе лично и твоим произведениям».

Однако автора это не спасло, хотя и смягчило удар: страшно даже представить, что было бы, попади Платонов в постановление ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград». С зимы 1945 — 1946 года «Семья Иванова» была прописана в «Новом мире», главным редактором которого в середине 1946-го стал Константин Симонов, и странным образом повторился сюжет пятнадцатилетней давности, связанный с хроникой «Впрок», когда новому начальнику «Красной нови» А. А. Фадееву также вздумалось напечатать непризнанного автора и доказать, что никакой крамолы проза хмурого, нелюдимого, но очень одаренного человека не содержит и в главном он наш, советский писатель. Не исключено, что похожими мотивами мог руководствоваться и Симонов, но в итоге он наступил на те же грабли. Подготовленный прежней редколлегией «Нового мира» рассказ про сержанта Иванова Симонову понравился, и хотя отношение к нему в редакции было неоднозначное, большая часть все же высказывалась за публикацию, однако с самой публикацией в журнале либо не торопились, либо просто не успели. Симонов медлить не стал: «Семья Иванова» была напечатана в первом, подписанном им сдвоенном номере (10-11 за 1946 год). То был демонстративный поступок, несомненно, уверенного в своем положении человека.

«Очень хотелось, получив в свои руки эту возможность, продолжить этим рассказом о возвращении с войны то, что писал Платонов в годы войны в „Красной звезде” и что как-то помогло ему обрести снова более или менее нормальное положение в литературе после сокрушительной критики тридцатых годов, — вспоминал позднее главный редактор „Нового мира” 1946 — 1950 годов (игнорируя то обстоятельство, что «литературная нормализация» Платонова уже произошла в годы войны, и таким образом Симонов в большей степени был озабочен интересами журнала, нежели Платоновым, что, впрочем, для главных редакторов «Нового мира» — не в осуждение им будь сказано — дело традиционное). — Мы с Кривицким не предвидели беды. Ее предвидел только Агапов. Присоединившись к нашему доброму мнению о рассказе и добавив даже, что рассказ не только хороший, а превосходный, мудрый Агапов добавил: „В случае чего, будем считать, что я так же голосую за него, как и вы, но предупреждаю вас, что с этим рассказом у нас будет беда. <…> В свое время, если не изменяет эта стариковская память, ‘Красную новь‘ чуть было не закрыли из-за опубликованной в ней вещи Платонова, был неимоверный скандал, в связи с чем досталось Ермилову, еще больше, кажется, Фадееву, которого вызывали и мылили шею на самом верхнем полке. <…> В рассказе, — продолжал Агапов, — есть некоторые оттенки того особого, свойственного Платонову отношения к жизни и к людским поступкам, которое в былое время было очень не одобрено, о чем вас и предупреждаю, хотя рассказ, повторяю, прекрасный, и если быть беде, то будем считать, что я вас ни о чем не предупреждал”.

Не знаю почему, но мы с Кривицким как-то очень легко отнеслись к этому предупреждению. Внутренне рассказ для нас продолжал то, что много раз печаталось в „Красной звезде”, то же свое, платоновское, не вызывавшее ничьих нареканий, — нам верилось, что так будет и на этот раз. А вдобавок было у нас и еще одно соображение: как-то не принято, только что назначив нового редактора, утвердив новую редколлегию, начинать колотить их за что-нибудь по первому же выпущенному ими номеру. В таких случаях обычно для начала первые грехи было принято отпускать».

Рассуждая умозрительно, Симонов 1946 года рисковал меньше Фадеева 1931-го: к моменту публикации «Семьи Иванова» Платонов был скорее на хорошем, нежели на плохом счету, недаром Семен Липкин приводил в мемуарах характерный обмен репликами между Гроссманом и Платоновым в первые послевоенные месяцы: «Что-то, Андрюша, давно тебя в прессе не ругают», а Платонов серьезно ответил: «Я теперь в команде выздоравливающих». Его если и ругали, то келейно и обреченно, примирившись с его манерой письма и даже с мировоззрением («Религиозный, христианский гуманизм Платонова лично для меня неприемлем, но ведь в его творчестве это не новость, — написала Евгения Книпович во внутренней рецензии на книгу рассказов „Вся жизнь”, которая готовилась к изданию в „Советском писателе”. — И если его рассказы с той же сущностью печатаются много лет, то нет никаких оснований не выпускать эту книгу»), книги продолжали выходить, причем не только в Советском Союзе. В 1946 году вышел сборник «Рассказы о родине» во Франции, готовились переводы на немецкий, в издательствах лежали три готовых сборника прозы, и хотя летом Платонову была возвращена заявка на книгу рассказов «Среди людей», а во второй половине года был неожиданно рассыпан набор сборника «Вся жизнь», это казалось досадной, но поправимой ошибкой, следствием литературных интриг («Это дело, конечно, Союза и из-ва — кого включили в свой план и кого нет… Я не равняюсь с теми писателями, которым я не равен, однако и я хочу напечатать то, что достойно быть напечатанным», — писал Платонов Фадееву 10 декабря 1946 года), а не горьким предзнаменованием, перечеркивающим счастливый прижизненный эпилог платоновской жизни, однако… «Однако, увы, Агапов оказался прав», — заключил Симонов.

4 января 1947 года, как раз в четвертую годовщину смерти Тоши, в «Литературной газете» появилась статья В. В. Ермилова «Клеветнический рассказ Андрея Платонова», после которой с ее героем при его жизни было фактически покончено. «Меня убьет только прямое попадание по башке», — писал Платонов жене с фронта. Три года спустя бомба его нашла…

Почему на сей раз учинить погром не поручили первому платоноведу республики А. С. Гурвичу, нечего и гадать: на носу была борьба с космополитами, и укрываться за спиной Абрама Соломоновича, у которого горела под ногами земля, чуткому профессору было не с руки, а может быть, зачесались пухлые ручки и захотелось самому с воплем разодрать на себе архиерейские одежды.

«Нет на свете более чистой и здоровой семьи, чем советская семья. Сколько примеров верности, душевной красоты, глубокой дружбы показали советские люди в годы трудных испытаний! Наши писатели правдиво писали об этом в своих рассказах, повестях, стихах. Редактору „Нового мира” К. Симонову следует вспомнить свое же собственное стихотворение „Жди меня”, воспевающее любовь и верность.

Все это, конечно, не означает, что писатель не должен касаться и отрицательных, порою болезненных сторон в семейной жизни того или другого человека.< …> Но к этой задаче нужно подходить с чистыми руками, с чистой совестью, с критериями нашей, советской, социалистической этики и эстетики.

Что общего имеет с этими критериями клеветническое стремление А. Пла­­тонова изобразить как типическое, обычное явление „семью Иванова”, моральную тупость главы этой семьи, цинизм „дяди Харитона” и его жены!

А. Платонов давно известен читателю и с этой стороны — как литератор, уже выступавший с клеветническими произведениями о нашей действительности. Мы не забыли и других мрачных, придавленных картин нашей жизни, нарисованных этим писателем уже после той суровой критики, какую вызвал „Впрок”. <…> Надоела читателю любовь А. Платонова ко всяческой душевной неопрятности, подозрительная страсть к болезненным — в духе самой дурной „достоевщины” — положениям и переживаниям, вроде подслушивания разговора отца с матерью на интимнейшие темы. Надоела вся манера „юродствующего во Христе”, характеризующая писания А. Платонова. Надоел тот психологический гиньоль в духе некоторых школ декаданса, та нездоровая тяга ко всему страшненькому и грязненькому, которая всегда отличала автора „Семьи Иванова”. <…>

Советский народ дышит чистым воздухом героического ударного труда и созидания во имя великой цели — коммунизма. Советским людям противен и враждебен уродливый, нечистый мирок героев А. Платонова».

«Мы с Тамарой ходим парой, санитары мы с Тамарой», — написала некогда Агния Барто. Назначивший себя классным санитаром на уроке современной русской словесности Владимир Владимирович Ермилов тоже ходил не один: вместе с ним проверял санитарное состояние советского общества платоновский адресат Александр Александрович Фадеев, назвавший «Семью Иванова» «лживым и грязноватым рассказцем», а о его авторе отозвавшийся как о писателе, который «не видит и не желает видеть лица советского человека, а уныло плетется сзади, в хвосте, являя собой пример обывательской косности и пошлости, перерастающей в злопыхательство».

Чего добивался Фадеев, какими руководствовался мотивами и какие ставил перед собою цели, можно предположить (см. далее размышления Константина Симонова); существуют воспоминания М. А. Платоновой, записанные Исааком Крамовым, из которых следует, что статью Фадеева Мария Александровна решила мужу не показывать. «Однако, когда пришла из магазина, увидела его сидящим на диване и газету, торчащую из-под подушки. Кто-то забежал, занес. Платонов был бледен. Горлом пошла кровь. Вечером к Платонову зашел Шолохов и утром следующего дня отправился к Фадееву, рассказал ему, что увидел накануне. Фадеев заплакал, схватился за голову и — выписал Платонову безвозмездно пособие через Литфонд — десять тысяч рублей».

Было ли это на самом деле, знает один Литфонд, подлинная роль Фадеева в судьбе Платонова по-прежнему до конца не ясна, но для тяжело больного Платонова денежная компенсация была ничтожной по сравнению с теми последствиями, которые имела для него зимняя кампания 1947 года, превосходящая по урону даже травлю 1931 года за «Впрок», не говоря уже о нападках Горького и Щербакова в 1935-м, Гурвича в 1937-м, да и тех же Ермилова с Фадеевым в 1939 — 1940 годах. После статей в «ЛГ» и «Правде» Андрей Платонов подняться уже не смог, и все, что в последние годы жизни ни делал, за исключением обработки народных сказок, света не увидело. Впрочем, если быть совсем точным, то в 1947 году Платонова благодаря личному мужеству главного редактора А. А. Суркова несколько раз напечатал «Огонек».

13 апреля 1947 года в пятнадцатом номере журнала был опубликован рассказ Платонова «Счастье вблизи человека», представлявший собой своеобразный осовремененный римейк начальных фрагментов повести «Джан», только теперь действие переносилось в послевоенное время, Чагатаева звали Василием, а Вера была вдовой погибшего на войне офицера. Кроме того, там же, в «Огоньке», вышло несколько рецензий за подписью А. Кли­ментова: на роман Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» (благодаря чему произошло знакомство двух Платоновичей и появились очень скромные и честные воспоминания Некрасова об их встрече-прогулке по переулкам Москвы от Тверского бульвара до Собачьей площадки с заходом в распивочные — «деревяшки» и с характерным признанием мемуариста «о литературе, мне помнится, говорили меньше всего… но помню, что было хорошо»), на сборник сказок русского народа в обработке А. Н. Толстого, на рассказы Василя Стефанника и на роман Михаила Бубеннова «Белая береза». Наконец, в начале октября 1947 года в «Огоньке» был опубликован один из последних, если не самый последний платоновский рассказ, увидевший свет при жизни автора, — «В далеком колхозе», лирический герой которого принимает решение не возвращаться в Москву, а остаться там, «где люди размышляют и работают, заботясь о своем колхозе и обо всем народе… Я там мог бы оказаться полезным: я мог бы рассчитать, спроектировать и начертить водоспуск для прудовой плотины; я работал когда-то гидротехником» — слова, не только выражавшие идею возвращения в молодость, но и несбыточную, сартириусову, предсмертную пушкинскую мечту автора — переменить судьбу.

Но и этот ручеек к концу 1947 года иссяк, из «Огонька» Платонов ушел, и вряд ли по доброй воле. Точно так же ушел он, а точнее — не смог войти в Детский театр, для которого написал в 1945 — 1946 годах неоконченную пьесу «Добрый Тит», а также законченную пьесу о юном Пушкине «Ученик лицея», но ни та ни другая поставлены не были, хотя по поводу последней Платонов обратился с письмом к А. А. Жданову с просьбой ее прочесть и дать возможность напечатать и поставить на сцене, «если с Вашей стороны не будет к тому возражений».

«Я обращаюсь к Вам потому, что некому решить этого вопроса, кроме Вас. Конечно, работники в редакции или в театре должны и могут решать такие вопросы, но в случаях со мной (когда я предлагаю им свои рукописи) эти вопросы почти всегда превращаются в практически неразрешимые — и мне либо возвращают рукописи без всякого суждения, либо рукописи вообще оставляются без ответа (они как бы не отвергаются и не принимаются)».

Неизвестно, было ли это письмо Ждановым прочтено, неизвестно даже, было ли оно отправлено (в платоновском архиве сохранился лишь черновик), но загубленная репутация писателя могла сыграть не последнюю роль в решительном идейном отказе Детского театра: «Несмотря на интересный материал, использованный Вами в произведении, и отдельные удачные сцены, в целом пьеса создает искаженный образ молодого Пушкина и его современников»[[8]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftn8" \o ").

Эта же репутация поставила барьер на его пути в советскую печать: в 1947 — 1949 годах новые произведения вновь очутившегося в команде прокаженных автора были без внятных разъяснений отвергнуты редакциями «Знамени», «Октября», «Смены», «Звезды», «Литературной газеты» и «Нового мира», а 24 февраля 1949 года в статье М. Шкерина «До конца разоблачить буржуазных эстетов-космополитов» Платонов был вновь упомянут в отрицательном контексте и назван упадочным писателем, причем речь шла о факте само собой разумеющемся и в доказательствах не нуждающемся.

На вопрос о том, почему, за что и с какой целью так жестоко и беспощадно наказали измученного, больного, обреченного на смерть и не причинившего никому зла фронтовика, современные исследователи отвечают по-разному. Самый изобретательный из платоноведов новейшего времени Е. А. Яблоков высказал предположение, что за кампанией против платоновского рассказа «Семья Иванова» стоял Сталин, чей гнев Платонов сознательно спровоцировал, совершив «поступок преднамеренный и даже в известном смысле демонстративный», когда назвал свой рассказ так же, как называлась вызвавшая недовольство вождя пьеса покойного драматурга Александра Афиногенова, и тем самым заставил сатрапа «вспомнить и ту „персональную” аллюзию, что лежала в основе ее фабулы… не случайным стал и разразившийся скандал: ожесточенная реакция на платоновский рассказ явилась своеобразным подтверждением того, что поступок оказался понят». Наряду с этой увлекательнейшей гипотезой, подразумевающей изощренную интертекстуальную дуэль двух титанов мысли, каковая, по нашему смиренному суждению, произошла лишь в воображении Евгения Александровича, предположим иную психологическую и историческую подоплеку событий, связанных с «Возвращением» — «Семьей Иванова».

Дело, как нам представляется, было не только в Платонове и в его вызывающе дегероизированном рассказе, хотя конечно же знакомый с автором уже почти двадцать лет Ермилов знал все уязвимые места и «историю болезни» этого писателя и ту аллергию, которая была на него в Кремле, — дело было также и в другом человеке — в Константине Михайловиче Симонове. Платонову, как уже говорилось выше, невероятно повезло, что он избежал участи стать третьим в компании с Ахматовой и Зощенко, что, нет сомнения, произошло бы, не забери он из «Звезды» вовремя свой рассказ. Однако, напечатавшись в симоновском «Новом мире» и невольно став неким знаком, новым камертоном журнальной политики, он попал из большого огня в немалое полымя.

История великой советской литературы свидетельствует о том, что двух главных редакторов ведущих литературных изданий — «Нового мира» и «Литературной газеты» — Симонова и Ермилова связывало взаимное чувство стойкой неприязни, всегда отличавшее подлинных советских партийцев, и особенно тех, кто имел отношение к изящным искусствам. Платонов со своей сомнительной репутацией, с клеймом, смыть которое не смогла даже война, снова, как и в истории противостояния Ермилова с «антипартийной группой» Лукача и журналом «Литературный критик» в 1937 — 1940 годах, оказался поводом не только для того, чтобы лишний раз потолковать о партийности в литературе и припрячь «беспринципный, безнравственный, объективистский и клеветнический рассказ» старого литературного врага, но и для того, чтоб обрушиться на выскочку Симонова, сделавшегося главным редактором «Нового мира» в тридцать лет, а тот факт, что Ермилов сам некогда возглавил «Красную новь» в двадцать восемь, ничего принципиально не менял, но скорее усиливал приступ ревности, зависти и ермиловской тоски по утраченному времени.

2 февраля 1947 года Ермилов написал в «Правде»: «Не так давно вся наша общественность, партийно-советская печать единодушно осудила клеветнический рассказ А. Платонова „Семья Иванова”. <…> Но редакция „Нового мира” до сих пор не сочла нужным сказать советской общественности, считает ли она ошибкой напечатание этого рассказа или же полагает, что была права, напечатав „Семью Иванова”. На днях вышла первая книжка „Нового мира” за текущий год. В распоряжении редакции было целых три месяца для того, чтобы определить свое отношение к той критике, которой был подвергнут рассказ А. Платонова в печати. Мы нашли в первой книжке большую статью главного редактора журнала К. Симонова. И с удивлением мы обнаружили, что К. Симонов говорит в своей статье об очень многом, но ни слова не говорит о рассказе А. Платонова».

Симонов действительно не покаялся, позволил себе этот роскошный жест, а вернее — демонстративное отсутствие оного, хотя в мартовском номере «Нового мира» 1947 года это сделал за него старый платоновский знакомец, секретарь писательской парторганизации Л. М. Субоцкий, написавший в своих «Заметках о прозе 1946 года» о «глубоком неверии в организующую силу общественной морали» автора «Семьи Иванова» и обвинивший Платонова в том, что «в рассказе содержится открытая, с предельной ясностью выраженная моральная санкция на анархизм и распущенность во взаимоотношении полов, всепрощение человеческих грехов», а «образ сержанта Иванова отталкивает читателя вопиющей аморальностью». И тем не менее сей приговор огласил, пусть и на страницах журнала, который сам себя высек, Лев Субоцкий, а его начальник изящно умыл руки, и это уже могло больно ранить Фадеева, который, оказавшись в похожей ситуации летом 1931 года, публично от Платонова отрекся, заорав на всю ивановскую «распни его, распни!».

Панская драка литературных генералов больно отозвалась на судьбе отставного майора административной службы, ибо от Фадеева зависела судьба его будущих книг: они были зарублены, несмотря на то что «Семью Иванова» Платонов из ее состава исключил еще в самом конце 1946 года, за неделю до ермиловского разноса.

«Дорогой Александр Александрович!

При этом посылаю рукопись (2 экз.) сборника „Вся жизнь”, что была разобрана в издательстве „Советский писатель”. Я немного изменил содержание книги: один рассказ заменил другим, два добавил».

Но дорогой Александр Александрович если что и сделал, то поставил на профессиональной деятельности подателя письма крест, и последующие неоднократные попытки Платонова добиться личной встречи с другом молодости («В этом третьем письме я снова обращаюсь к Вам с тою же просьбой — дать мне возможность увидеться с Вами, чтобы сообщить о своей работе. Есть вещи, которые никто, помимо Вас, не может решить», — писал он Фадееву 4 марта 1947 года), просьбы принять участие в его судьбе и даже определенная мера покаянности и признания своей ошибки («Настойчивость, с которой я обращаюсь к Вам, объясняется моим тяжелым положением и необходимостью лечиться. Я понимаю, что я сам виноват в своем положении, но не из одного рассказа состояла моя жизнь и работа и не из ошибок будет состоять моя будущая работа», — напоминал о себе 25 мая 1947-го) успеха не имели вплоть до января 1948 года, когда Фадеев Платонова все же принял.

Сыграла ли в душе Фадеева жалость или удовлетворенная гордыня — платоновские письма с переходом на почтительное «Вы» и просьбу стать своим личным цензором («Для меня создалось такое положение, что <…> я могу надеяться на опубликование какого-либо своего произведения, большого или малого, лишь в том случае, если оно просмотрено Вами и по нему есть Ваше суждение») он мог рассматривать как акт капитуляции, но после личной встречи руководителя с рядовым членом литературного союза, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, А. П. Платонову было назначено ежемесячное литфондовское пособие размером 750 рублей. Однако книга так и не вышла: поддерживая человека одной рукой, Фадеев другой его изничтожал…

«Зачем он это сделал? Почему? Меня волновало это, — писал в мемуарах Симонов. — Ермилова я уже до этого устойчиво, прочно не любил и не уважал. Я не стал говорить с Фадеевым на эту тему, потому что, несмотря на всю свою неопытность, чувствовал, что разговору не выйдет или он будет неискренним. В чем дело? Почему он так поступил? Мне казалось, что как опытный политик он не должен был бояться того, что вслед за уже появившимися постановлениями последует довесок именно по рассказу Платонова. Это было не в стиле Сталина, не похоже на него. Или Фадеев все-таки так помнил рискованное положение, в котором когда-то оказался из-за Платонова, что не хотел даже и доли риска, даже самой малейшей — потому что ведь не ему бы, случись что-нибудь, досталось в первую очередь. Или, как это было у него по отношению к некоторым людям, с которыми он столкнулся в более молодые годы, с которыми имел разногласия, которых тогда не любил или которым тогда не доверял, — он держал в памяти Платонова как человека, причинившего лично ему, Фадееву, зло? Как человека, которому вследствие этого ничего не следует прощать, ничего и никогда? Я знал несколько человек в литературе, к которым он именно так и относился — без пощады, без отпущения грехов. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но в моем представлении дело было именно так.

А может быть, только вернувшись в Союз по инициативе Сталина, ему хотелось в эти первые месяцы показать себя на высоте задачи, одетого в броню твердости, непогрешимости и памятливости — политической памятливости, и пример этого был показан на Платонове? Не знаю. Во всяком случае, убежден, что никакой инспирации сверху для этой статьи о Платонове не требовалось и ее не было. Сужу по тому, что она при ее разгромной силе не получила никакого дальнейшего отклика. Меня не возили мордой об стол, не устраивали дальнейшей проработки журнала в связи с этой статьей Ермилова. Но обстановка тех месяцев не располагала к тому, чтобы пробовать куда-то жаловаться на эту статью. Рассказ Платонова был по настроениям того времени и по обстановке, сложившейся сразу после постановлений, в чем-то, конечно, уязвим. Можно было пройти мимо него, не вцепившись в него, но защищать его после того, как в него уже вцепились, да еще так громогласно, как это сделал Ермилов, имевший вдобавок пока что — повторяю, пока что — молчаливую поддержку Фадеева, было опасно, — не столько даже для журнала и его редактора, сколько для автора. В общем, мы проглотили эту пилюлю: идти до конца, до самого верха, в этом случае не хватило духу и пороху».

Итак, Симонов отрекся от Платонова не страха ради иудейска и даже не ради спасения журнала, а ради самого Платонова — логика совершенная! Укажем на источник, свидетельствующий о том, что это отречение далось ему не просто и не сразу. И больше того, Симонов сам все хорошо понимал и, возможно, пытался эту ситуацию переломить, тем более она задевала его лично.

Тесно связанная с редакцией «Нового мира» Л. К. Чуковская описывала в дневнике свой разговор с Симоновым в феврале 1947 года:

«— Мое положение особенно трудное, — сказал он. (Мы коснулись Платонова.) Многие не любят меня, считают, что я вознесен не по заслугам и пр. И будут делать мне пакости. Но мне не могут пока — так будут крыть людей, которых я печатаю в журнале. Это мешает мне быть особенно смелым. А зато другие будут в обиде, что я не такой смелый... Но каков подлец Ермилов! Этот товарищ схлопочет от меня по морде. В том же номере, где поносит Платонова, делает передо мной реверанс...

— Что ж Ермилов, — сказала я. — Это ведь только псевдоним. Ведь и „Правда” повторила его версию, и „Культура и Жизнь”.

— Разве „Культура и Жизнь” тоже? — спросил он.

— Да, — сказали мы в один голос с Ивинской.

Странно, что он этого не знал.

— Прочтя Ермилова, я немедленно послал в „Новый мир” телеграмму: заказать Платонову другой рассказ».

Возможно, такая телеграмма действительно была послана и заказ Платонову на другой рассказ был сделан, да только ни одной платоновской строки при Симонове больше напечатано не было, и когда в 1948-м Платонов отнес в «Новый мир» «Житейское дело», рассказ проходной и в каком-то смысле антонимичный по отношению к «Возвращению» — в нем рассказывалась счастливая история рождения новой советской послевоенной семьи, и весь внутренний драматизм уходил во внешнее сплетение обстоятельств, — редакция его отвергла: «Рассказ „Новому миру” не подходит». Симонов оставил автограф на рукописи и другого платоновского текста, поступившего в редакцию 11 марта 1948 года: «Я прочел. Дать прочесть Федину и Катаеву. К. С.».

Об этих отказах, о фактическом отречении от Платонова, о том, что в 1949 году он, Симонов, рассматривал рукопись последнего, составленного Платоновым авторского сборника прозы «У человеческого сердца» и, судя по всему, никоим образом его не поддержал (а меж тем Платонов просил Льва Славина: «Осмелюсь напомнить Вам о нашем разговоре в больнице: я просил Вас при случае поговорить с К. М. Симоновым. Кстати, я прошу Вас поговорить с ним и о моей книжке (рукопись „У человеческого сердца”), которая давно находится у него») — обо всех этих нюансах и деталях, в коих известно кто кроется, автор мемуаров под неброским названием «Глазами человека моего поколения» написал уклончиво и скупо или же просто не написал ничего — забыл, должно быть, либо не придал значения (а вообще скажи и ему, и Фадееву, и Федину, и Ермилову, и прочим литературным *корифеям* тех времен, что полвека спустя они будут интересны нам прежде всего потому, что имели отношение к Андрею Платонову, тому самому, кто смиренно «не равнялся с теми писателями, которым не равен» — как искренне, должно быть, удивились бы).

Гумилевский вспоминал о том, что «литературная общественность забросала протестующими письмами „Литературную газету” и „Новый мир”», но «письма наши Платонову не помогли». Эти факты также нуждаются в уточнении: кто именно и как протестовал против травли Платонова в 1947 году, не совсем ясно, но известно устное суждение Ильи Эренбурга, которое привела в дневнике Лидия Чуковская: «Симонов думает, что его журнал чем-нибудь будет отличаться, — напрасно. Будет та же серость. Ничего не дадут: вот ведь и Платонова не дали напечатать. Рассказ Платонова для Платонова — не лучший, но в журнале — из лучших...»

В воспоминаниях Симонова есть еще одно темное, точно сознательно затемненное место. Описывая встречу у Сталина 14 мая 1947 года, мемуарист воспроизводит следующий эпизод:

«…Фадеев заговорил об одном писателе, который находился в особенно тяжелом материальном положении.

— Надо ему помочь, — сказал Сталин и повторил: — Надо ему помочь. Дать денег. Только вы его возьмите и напечатайте, и заплатите. Зачем подачки давать? Напечатайте — и заплатите.

Жданов сказал, что он получил недавно от этого писателя прочувствованное письмо.

Сталин усмехнулся.

— Не верьте прочувствованным письмам, товарищ Жданов».

В комментариях к своим мемуарам Симонов написал о том, что имя писателя он «тогда, видимо, из чувства такта опустил, а сейчас не может вспомнить». Утверждать, равно как и отрицать стопроцентно, что этим писателем был Андрей Платонов и, таким образом, санкция свыше на его возвращение была получена, нельзя, но все же «напечатал» Платонова не Симонов и не Фадеев.

Единственным человеком, кто реально помог Платонову, когда все литературные пути для него оказались перекрыты, кто добился того, чтобы его товарищу дали возможность заниматься обработкой и изданием народных сказок, стал Михаил Александрович Шолохов.

«Дорогой Михаил!

Благодарю тебя, что ты нашел время и прочитал три сказки. Теперь нужно твое мнение сообщить в Детиздат. Как это сделать? <…> Для меня это жизненно важно, — писал Платонов Шолохову 20 ноября 1947 года. — У меня есть несколько вопросов к тебе. Если бы удалось их решить, я бы, может быть, встал на ноги и избавился от своей болезни. Вопросы эти простые, но для меня, для моих сил, неразрешимые. Изложить их в письме долго и трудно. А увидеться с тобой нет возможности, как я ни желаю этого.

Один из вопросов — и самый главный — это организация дела издания русского эпоса. Ты сам понимаешь, что это значит. Оно имеет общенациональное значение. Без тебя мы этого дела не вытянем, с тобою оно пошло бы легко.

Я пишу тебе это письмо потому, что мне уже совестно тебе звонить и внезапно отрывать от работы. Я тебя ожидал вчера весь день, но, видно, у тебя совсем нет времени».

Это письмо примечательно тем, что оно свидетельствует не только о конкретной помощи одного писателя другому, не только о том, что действительно занимало Платонова в оставшиеся несколько лет жизни и кого он считал своим единственным реальным союзником в русском деле. Одновременно оно показывает, как трудно приходилось Платонову об этой помощи просить, но все же последняя его прижизненная книга, сборник русских сказок «Волшебное кольцо», вышла в 1950 году под редакцией автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины» тиражом в сто тысяч экземпляров. О несколько интригующей дружбе Шолохова и Платонова литературный мир Москвы был осведомлен (другое дело, что, учитывая очень напряженные отношения Шолохова и Симонова, Шолохова и Фадеева, эта дружба несла Платонову не только прямую пользу, но и сулила опасности и неприятности).

Еще одним неожиданным платоновским заступником стал писатель, Платоновым в 1940 году жестоко обиженный и очень не любивший, когда его обижали, — Михаил Михайлович Пришвин. Автор сказки-были «Кладовая солнца», незадолго до того получивший премию на конкурсе детских рассказов и вновь подтвердивший этим сочинением высокую литературную репутацию, написал 12 апреля 1947 года необычайно краткий, но столь же емкий и многозначный, по-хорошему резкий отзыв на сказку «Финист — ясный сокол», обработанную Платоновым и довольно критично оцененную профессиональным экспертом — фольклористом А. Н. Не­чаевым.

Прочитав платоновскую работу и отзыв Нечаева на нее, Пришвин с несвойственным ему лаконизмом заключил: «Сказка „Финист — ясный сокол” в обработке Андрея Платонова удачно выбрана и отлично обработана. Заметки А. Н. Нечаева сделаны в малых случаях правильно и во всяком случае дают автору драгоценную возможность проверить себя в таком ответственном деле, как обработка сказок».

То есть, говоря прямо: не нравится вам, как сделал Платонов, — сами обрабатывайте, только имейте в виду, ничего у вас не получится, ибо вы не из нашего цеху, и примечательно, что похожего мнения независимо от Пришвина придерживался и Платонов, когда, высоко оценив труды А. Н. Афанасьева, заключил, что его собрание русских сказок «страдает, однако, существенным недостатком: сказки обрабатывал ученый, человек, любящий народное творчество и знающий его, но не художник; не будучи же художником, это дело вполне хорошо исполнить нельзя».

Для Пришвина, который еще в 1909 году, будучи никому не известным членом Географического общества, защищал от нападок и обвинений в плагиате своего младшего товарища и одновременно с тем учителя А. М. Ремизова, также занимавшегося обработкой сказок и на этой ниве пострадавшего, профессиональная солидарность и помощь собрату по перу в затянувшейся войне писателей и фольклористов была делом чести, похоже заставившим даже забыть про злую рецензию на «Неодетую весну», тем более что Пришвин эту повесть и сам годы спустя не слишком высоко ставил.

Мнение старейшего писателя свою роль сыграло (а неизвестно, чем бы все обернулось, отзовись Пришвин о довоенном рецензенте дурно), и Платонов получил допуск к теме, которая для него никогда не была чужой, ибо сказочное начало присутствовало в самых разных его произведениях от ранней воронежской прозы до опубликованной в 1947 году в «Огоньке» рецензии на книгу «Сказки русского народа».

«Вмешательство в процесс творчества народной сказки таких корифеев литературы, как Пушкин и Лев Толстой в прошлом, такого большого художника, как А. Н. Толстой в наше время, имеет своей целью восстановление, воссоздание наилучшего коренного варианта данной сказки из всех вариантов, созданных народом на тему этой сказки, — писал в той рецензии Платонов. — Но этого мало, писатели дополнительно обогащают и оформляют народную сказку силою своего творчества и придают ей окончательное, идеальное сочетание смысла и формы, в котором сказка остается пребывать надолго или навсегда».

Таким образом, цель была сформулирована, и Платонов продолжил начатое Алексеем Толстым при всей парадоксальности сближения этих имен дело, за которым угадывалась и важная задача, сформулированная им в выше процитированном письме к Шолохову, недаром позднее в платоновском некрологе появились строки: «В последние годы своей жизни, будучи тяжело больным, Андрей Платонов отдавал много сил работе над народным эпосом». Глубокая правда была в том, что среди последних страниц начатой много лет назад одной большой платоновской книги, где какие только темы и сюжеты не возникали, какие бездны не разверзались и вершины не открывались, стали и эти, обращенные к детской душе волшебные слова и вечные образы, идеально сочетающие смысл и форму.

О платоновских сказках можно написать целое исследование. Больше того, их относительная по сравнению с другими произведениями писателя неизвестность и невостребованность — еще один пример великой литературной несправедливости, хотя еще в 1971 году в журнале «Вопросы литературы» проницательнейший и очень хорошо Платонова почувствовавший писатель Сергей Павлович Залыгин отметил:

«Его внимание привлекли прежде всего те сказки, содержание которых касается трагической, очень жестокой и бескомпромиссной борьбы добра и зла, подлинной мудрости с воинственным заблуждением.

В них нет и следа той сглаженности, которая рассчитана иногда на милых деток, а иногда и на милых взрослых.

Здесь рубят головы и руки, и живое тело свертывают в петлю или рассыпают на части, здесь носители добра и не думают изображать ангелов — то и дело они сами заблуждаются, они обидчивы, а отчасти и легковерны, поддаются подстрекательствам злодеев, и хотя мы всегда на стороне доб­рых, однако же далеко не всегда и не все их поступки можем одобрить».

Вошедшие в сборник «Волшебное кольцо» платоновские сказки — «Умная внучка», «Финист — ясный сокол», «Иван Бесталанный и Елена Премудрая», «Безручка», «Морока», «Солдат и царица», «Волшебное кольцо», а также не вошедшие, авторские — «Неизвестный цветок», «Разно­цветная бабочка», «Уля» и другие — суть такая же вершина его творчества, как «Епифанские шлюзы», «Чевенгур», «Котлован», «Джан», «Третий сын», «Река Потудань», «Седьмой человек», «Возвращение». Взаимосвязь всех этих произведений, их глубинное родство и общая корневая система несомненны, пусть и не столь очевидны — на то они и корни.

Элемент собственного сказочного, волшебного в каждой из сказок рознится, а их связь с первоисточником, то есть с собственно народной сказкой, чьи сюжеты Платонов «обрабатывал», представляет собой отношения сотворчества. «Платоновское» проступает в каждой из них, но, пожалуй, особенно отчетливо в «Безручке» — сказке, по фольклорному своду хорошо известной. В ней рассказывается о судьбе сестры, оклеветанной своей невесткой, потерявшей по ее навету руки и чудесным образом их обретшей ради и благодаря спасению собственного сына, упавшего в колодец. Однако Платонов пошел гораздо дальше, распространив действие волшебной истории на войну, куда попадают главные герои — Безручка, ее муж и сын. Все они совершают подвиги, защищая родную землю, и в кульминационной сцене встречи-узнавания отца и сына на вопрос, кто у тебя отец с матерью, сын произносит очень важные в контексте платоновского народоведения слова:

«Нету у меня батюшки, и какой он был — не помню. А рос я с малолетства один у матери, земля была нашим ложем, а небо — покровом, а добрый народ был заместо отца.

— Народ всем отцам отец, — сказал так полководец, — я сам перед ним меньшой и наградить его не могу».

Можно почти не сомневаться: последнее было обращено непосредственно к Сталину и было ответом на его лицемерный тост за русский народ.

[[1]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftnref1" \o ") Так в оригинале.

[[2]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftnref2" \o ") Наркомат земледелия.

[[3]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftnref3" \o ") В этом слове не зазорность, а уважение: монтер — организатор, мастер, комбинатор косных веществ. *(Прим. А. Платонова.)*

[[4]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftnref4" \o ") В. А. Попов — главный редактор журнала «Всемирный следопыт».

[[5]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftnref5" \o ") Этот фрагмент платоновского письма хорошо известен по публикации в журнале «Волга» в 1975 году. Но обратим внимание читателя на редакционную правку: вместо платоновского «слёз» было «глаз».

[[6]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftnref6" \o ") Этой фразы в публикации 1975 года не было. А между тем двусмысленность — это то, за что Платонова станет бить советская критика.

[[7]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftnref7" \o ") Но примечательно, что в сценарии «Семья Иванова» это понимание у героя присутствует: «Я вот и сам еще не знаю, кто больше для родины и для победы сделал — я или моя жена. Скорее всего она… я не считаюсь здесь своей кровью, когда там у женщины и у подростка кости сохнут от работы круглые сутки, когда они там хлебом с картошкой не всегда наедаются… Наши жены там, наши советские женщины, наши дети и старики, — вот какие там богатыри. Это они нас всю войну и кормят, и одевают, и оружие делают в достатке с избытком».

И то же понимание ощущается в словах Иванова, когда он еще не знает об измене жены, но размышляет в споре с сослуживцами:

«ИСАЕВ. Скажи, Алексей Алексеевич, а если бы, допустим, что-нибудь случилось подобное с твоей супругой? Ты как тогда бы?

ИВАНОВ. Да я что!.. Я солдат, дорогой мой, а солдат и смерть стерпит, когда нужно. А раз я смерть прощаю, то и жену не обижу.

ИСАЕВ. А все-таки?

ИВАНОВ. Чего тебе — все-таки? Моя жена не железная копилка для добродетели… Все люди, брат, сейчас раненые, — зачем же упрекать жену, если ее поранила жизнь и судьба. Не одни же осколки и пули бьют человека».

[[8]](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/va8-pr.html" \l "_ftnref8" \o ") Правда, надо отдать должное Детскому театру, отказ завершался фразой: «Дирекцией театра возобновлено ходатайство перед Главным Управлением театров Комитета по делам искусства при Совмине СССР о списании выданного Вам гонорара».